

Аркадий Гайдар

Бумбараш

Повесть

Аркадий Гайдар

Бумбараш

Первая часть

Бумбараш солдатом воевал с Австрией и попал в плен. Вскоре война окончилась. Пленных разменяли, и поехал Бумбараш домой, в Россию. На десятые сутки, сидя на крыше товарного вагона, весело подкатил Бумбараш к родному краю.

Не был Бумбараш дома три года и теперь возвращался с подарками. Вез он полпуда сахара, три пачки светлого офицерского табаку и четыре новых полотнища от зеленой солдатской палатки.

Слез Бумбараш на знакомой станции. Кругом шум, гам, болтаются флаги. Бродят солдаты. Ведут арестованных матросы. Пыхтит кипятильник. Хрипит из агитбудки облезлый граммофон.

И, стоя на грязном перроне, улыбается какая-то девчонка в кожаной тужурке, с наганом у пояса и с красной повязкой на рукаве.

Мать честная! Гремит революция!

Очутившись на привокзальной площади, похожей теперь на цыганский табор, Бумбараш осмотрелся — нет ли среди всей этой прорвы земляков или знакомых.

Он переходил от костра к костру; заглядывал в шалаши, под груженные всяким барахлом телеги, и наконец за углом кирпичного сарая, возле мусорной ямы, он натолкнулся на старую дуру — нищенку Бабуниху.

Бабуниха сидела на груди битых кирпичей. В руках она держала кусок колбасы, на коленях у нее лежал большой ломоть белого хлеба.

«Эге! — подумал изголодавшийся Бумбараш. — Если здесь нищим подают колбасою, то жизнь у вас, вижу, не совсем плохая».

— Здравствуйте, бабуня, — сказал Бумбараш. — Дай бог на здоровье доброго аппетита! Что же вы глаза выпучили, или не признаете?

— Семен Бумбараш, — равнодушно ответила старуха. — Говорили — убит, ан живой. Что везешь? Подай, Семен, Христа ради... — И старуха протянула заграбастую руку к его сумке.

— Бог подаст, — отодвигая сумку, ответил Бумбараш. (Ишь ты, как колбасу в мешок тыркнула.) — Нету там ничего, бабуня. Сами знаете... что у солдата? Ремень, бритва, шило да мыло. Вы мне скажите, брат Василий жив ли?.. Здоров? Курнаковы как?.. Иван, Яков?.. Варвара как? Ну, Варька... Гордеева?

— А не подашь, так и бог с тобой, — все так же равнодушно ответила старуха. — Брат твой по тебе давно панихиду отслужил, а Варвара... Варька твоя в монастырь не пошла... Лежа-ал бы! — протяжно и сердито добавила старуха и ткнула пальцем Бумбарашу в грудь — А то нет!.. Поднялся!.. Беспокойный!

— Слушайте, бабуня, — вскидывая сумку, ответил озадаченный Бумбараш, — помнится мне, что дьячок вам однажды поломал уже ребра, когда вы слезали с чужого

чердака. Но... бог с вами! Я добрый.

И, плюнув, Бумбараш отошел, будучи все же обеспокоен ее непонятными словами, ибо он уже давно замечал, что эта проклятая Бабуниха вовсе не так глупа, какой прикидывается.

До села, до Михеева, оставалось еще двадцать три версты.

Попутчиков не было. Наоборот, оттуда, с запада, подъезжали к станции всё новые и новые подводы с беженцами.

Говорили, что банда полковника Тургачева и полторы сотни казаков идут напролом через Россошанск, чтобы соединиться с чехами.

Говорили о каком-то бешеном атамане Долгунце, который разбил Семикрутский спиртзавод, ограбил монастырь, взорвал зачем-то плотину, затопил каменоломни. Рубит головы направо и налево. И выдает себя за внука Стеньки Разина.

«Хоть за самого черта! — решил Бумбараш. — А сидеть и ждать мне здесь нечего».

Верст пять он прокатил на грузовой машине, которая помчалась в Россошанск забирать позабытые бочонки с бензином.

У опушки, на перекрестке, он выбросил сумку и выскочил сам.

Подпрыгивая на ухабах, отчаянная машина рванула дальше, а Бумбараш остался один перед тем самым веселым лесом, который с детства был им исхожен вдоль и поперек и который сейчас показался ему угрюмым и незнакомым.

Он прислушался. Где-то очень-очень далеко грохали орудия.

«А плевал я на красных, на белых и на зеленых!» — решил Бумбараш и, стараясь думать о том, что он скоро будет дома, зашагал по притихшей лесной дороге.

Смеркалось, а Бумбараш прошел всего только полпути. Но он не беспокоился, так как знал, что уже неподалеку должна стоять изба кордонного сторожа.

Навстречу Бумбарашу мчалась подвода. Лошадь неслась галопом. Мужик правил. На возу сидели две бабы.

Бумбараш, выскочив из-за кустарника, закричал им, чтобы они остановились. Но тут та баба, что была помоложе — рыжеволосая, без платка, — вскинула ружье-двустволку и не раздумывая выстрелила.

Заряд дробы со свистом пронесся над головой Бумбараша. И Бумбараш с проклятием отскочил за ствол дерева.

«Это не наши! — решил он, когда телега скрылась за поворотом. — Нашей бабе куда!.. Вот проклятый характер! Это, наверно, с Мантуровских каменоломен. Ишь ты, чертовка!.. Стреляет!»

Сумка натерла плечо, он вспотел, устал и проголодался. Он поднял палку и свернул с дороги. Кордонная изба была рядом.

Миновав кустарник, он прошел через огород. Было тихо, и собаки не лаяли. Бумбараш кашлянул и постучал о деревянный сруб колодца. Никто не откликнулся.

Он подошел к крыльцу. Перед крыльцом валялась разбитая стеклянная лампа, и трава пахла теплым керосином. Дверь была распахнута настежь.

Откуда-то из-за сарая с жалобным визгом вылетел черный лохматый щенок и, кувыркаясь, подпрыгивая, кинулся Бумбарашу под ноги.

— Эк обрадовался! Эк завертелся! Да стой же ты, дурак! Ну, чего пляшешь?

Бумбараш вошел в избу. Изба была пуста. Видно было, что покинули ее совсем недавно и что хозяева собирались наспех.

В углу валялась разорванная перина. По полу были разбросаны листы газет, книги; на столе лежала опрокинутая чернильница. Вся глиняная посуда в беспорядке была свалена в кучу. Печь была еще теплая, и на шестке стояла подернувшаяся салом миска со щами.

Бумбараш постоял, раздумывая, не лучше ли будет убраться отсюда подальше.

Он заглянул в окно. Ночь надвигалась быстро, и небо заложили тучи. Он отодвинул заслонку печки. Там торчала позабытая крынка топленого молока.

Тогда Бумбараш сбросил сумку и скинул шинель.

— Ну, ты, черный! — сказал он, подталкивая собачонку носком рыжего сапога. — Раз хозяев нет, будем хозяйничать сами.

Он вынул из сумки ковригу хлеба, достал крынку молока и поставил на стол миску со щами. Ложка у него была своя — серая, алюминиевая, вылитая из головки шрапнельного снаряда.

— Ну, ты, черный! — пробормотал он, кидая собачонке кусок размоченного в молоке хлеба. — Мы ни к кому не лезем, и к нам пусть никто не лезет тоже.

По крыше застучал дождь. Бумбараш захлопнул окно, запер на задвижку дверь. Лег на рваную перину. Положил сумку под голову. Накрылся шинелью и тотчас же уснул.

Черная собачонка вытащила из-под печки рваный башмак. Потрепала его зубами, поворчала, уронила кочергу, испугалась и притихла, свернувшись у Бумбараша в ногах.

Вероятно, потому, что в избе было тепло и тихо, потому, что не мозолило бока жесткими досками вагонных нар и его не трясло, не дергало, не осыпало пылью и не обжигало искрами паровозных топок, спал Бумбараш очень крепко.

И, когда наконец его разбудил собачий лай и быстрый стук в окошко, он вскочил как ошалелый.

— Что надо? — заорал он таким голосом, как будто был здесь хозяином и его сон потревожил назойливый нищий или непрошенный бродяга.

— Командир здесь? — раздался из-за окна нетерпеливый скрипучий голос.

— Здесь! Как же! — злобно ответил Бумбараш. — Что надо?

— Бумагу возьми! — и чья-то рука протянулась к окошку.

— Какую еще бумагу?

— А черт вас знает, какую еще бумагу! Приказано передать — и все дело!

— Давай, чтоб ты провалился! — нехотя ответил Бумбараш и, просунув руку в фортку, получил измятый шершавый пакет. — Давай! Да проваливай!

— «Проваливай!»! — передразнил его обиженный голос.

Потом затарахтела телега, и уже издалека Бумбараш услышал:

— Я вот скажу ему, что ты пьяный нарезался, лежишь и дрыхнешь. Я все расскажу!

Бумбараш повертел пакет. Но ни свечки, ни лампы в избе не было.

— Носит вас по ночам! Не дадут человеку и выспаться! — проворчал Бумбараш и цыкнул на собачонку, чтобы не гавкала.

Он зевнул, потянулся, по солдатской привычке сунул пакет за обшлаг рукава шинели и снова завалился спать. Долго ворочался он, но теперь ему не спалось.

В окошке уже брезжил рассвет, а вставать Бумбарашу не хотелось.

Он потянулся за махоркой, закурил, услышал, как под крышей застрекотали сороки. И вдруг, как-то разом, очнулся. Он вспомнил, что до родного села, до Михеева, осталось всего-навсего только десять коротких верст.

Он вскочил, сполоснул голову возле дождевой кадки и снял со стены осколок зеркала.

Лицо свое ему не понравилось. Нос был обветренный, красный, щеки шершавые и заросшие бурой щетиной. Кроме того, под левым глазом еще не разошелся синяк. Это кованым каблуком ему подсадил в темноте отпускной артиллерист, пробиравшийся через головы спящих к двери вагона.

— Морда такая, что волков пугать, — сознался Бумбараш. — А уезжал... провожали... Эх, не то было...

Он утешил себя тем, что придет домой, выкупается, побреется и наденет синие диагональные пиджак и брюки — те, что купил он, когда сватался к Вареньке, как раз перед войной.

По привычке Бумбараш пошарил глазами, не осталось ли в покинутой избе чего-нибудь такого, что могло бы ему пригодиться. Забрал для раскурки лист газетной бумаги, вынул из кочерги палку и вышел на дорогу.

«Изба, — думал он, — раз. Жениться — два. Лошадь с братом поделить — три. А земля будет. Земли нынче много. Революция».

Занятый своими мыслями, он быстро отсчитывал версты, не обращая внимания на черную собачонку, которая бежала за ним следом, тыча носом в бахромчатую полу его пропахшей (дымом) шинели. Чему-то иногда улыбался. И что-то веселое бормотал.

Часа через два он вышел из леса и остановился перед мельничной плотиной.

На кудрявых холмах, в дымке утреннего тумана, раскинулось село Михеево.

— Будьте здоровы! — приподымая серую папаху, поклонился Бумбараш. — Провожали — плакали. Не виделись долго. Чем-то теперь встретите?

С любопытством осматривал Бумбараш знакомые улицы.

Мост через ручей провалился. Против трактира — новый колодец. У Полуваловых перед избой раскинулся большой палисадник, а сарай и заборы новые... На месте Фенькиной избы осталась одна закопченная труба — значит, погорела.

Акации под церковной оградой, где часто сидел он когда-то с Варенькой, сплошной стеной раздались вширь.

Бумбараш завернул за угол и (вытаращив глаза) остановился. Что такое? Вот он, пожарный сарай. Вот она, изба Курнаковых. Вот он и братнин дом со старой липой под окнами. Однако справа, рядом с братниным домом, ничего не было.

Перед самой войной Бумбараш затеял раздел и начал строиться. Он поставил пятистенный сруб и подвел его уже под крышу. Уходя в солдаты, Бумбараш наказал брату, чтобы тот забил окна, двери, сохранил гвозди, кирпич, стекла и присматривал, чтобы тес не растащили.

А сейчас не только тесу, но и самого сруба на месте не было. Да что там сруба — даже того места! Как провалилось! И все кругом было засажено картошкой.

Сердце вздрогнуло у Бумбараша, он покраснел и, не зная, что думать, прибавил шагу.

Он распахнул дверь в избу и столкнулся с женой брата — Серафимой. Серафима дико взвизгнула, уронила ведра и отскочила к окну.

— Семен! — пробормотала она. — Господи помилуй! Семен! — И она крепко вцепилась рукой в скалку для теста, точно собираясь оглоушить Бумбараша.

Бумбараш попятился к порогу и наткнулся на подоспевшего брата Василия.

— Что это? Постой! Куда прешь? — закричал Василий и схватил Бумбараша за плечи.

Бумбараш рванулся и отшвырнул Василия в угол.

— Чего кидаешься? — сердито спросил он. — Протри глаза тряпкой. Здравствуйте!

— Семен! Вон оно что! — пробормотал, откашливаясь, Василий. — А я, брат, тебя не того... Серафима! — заорал он на оцепеневшую бабу. — Уйми ребят... Что же ты стоишь, как колода! Не видишь, что брат Семен приехал!

— Так тебя разве не убили? — сморщив веснушчатое лицо, плаксивым голосом спросила Серафима и подошла к Бумбарашу обниматься.

— На полвершка промахнулись! — огрызнулся Бумбараш. — Одна орет, другой — за шиворот. Ты бы еще с топором выскочил!

— Нет, ты... не подумай! — сдерживая кашель и торопливо отыскивая что-то за зеркалом, оправдывался Василий. — Серафима, куда письмо задевали? Говорил я тебе — спрячь. Голову оторву, если пропало.

— В комоде оно. От ребят схоронила. А то недавно Мишка квитанцию на лампе сжег... У-у, проклятый! — выругалась она и треснула притихшего толстопузого мальчишку по затылку.

— Нет, ты не подумай, — торопился (оправдываться) Василий. — Тут не то что я... а кто хочешь!.. Мне староста... Как раз Гаврила Никитич, — сам письмо принес. Смотрю — печать казенная. «Что же, — спрашиваю я, — за письмо?» — «А то, что брат твой Семен, царство ему небесное, значит... на поле битвы...»

— Как так на поле битвы! — возмутился Бумбараш. — Быть этого не может...

— А вот и может! — протягивая Бумбарашу листок, сердито сказала Серафима. — Да

ты полегче хватай! Бумага тонкая — гляди, изорвешь.

И точно: канцелярия 7-й роты 120-го Белгородского полка сообщала о том, что рядовой Семен Бумбараш в ночь на восемнадцатое мая убит и похоронен в братской могиле.

— Быть этого не может! — упрямо повторил Бумбараш. — Я — живой.

— Сами видим, что живой, — забирая письмо, всхлипнула Серафима. — У меня, как я глянула, в глазах помутилось.

— Избу мою продали? — не глядя на брата, спросил Бумбараш. — Поспешили?

Василий кашлянул и молча развел руками.

— Чего же поспешили? — вступилась Серафима. — Раз убит, то жди не жди — все равно мертвый. Да и за что продали! Нынче деньги какие? Солома. Гавриле Полувалову и продали. Баню новую он ставил... сарай... Варька-то Гордеева за него замуж вышла. Поплакала, заплакала да и вышла.

Бумбараш быстро отвернулся к окошку и полез в карман за табаком.

— О чем плакала? — помолчав немного, хрипло спросил он сквозь зубы.

— Известно о чем! О тебе плакала... А когда панихиду справляли, так и вовсе ревмя ревела.

— Так вы и панихиду по мне отмахали? Весело!

— А то как же, — обидчиво ответила Серафима. — Что мы — хуже людей, что ли?

Порядок знаем.

— Вот он где у меня сидит, этот порядок! — показывая себе на шею, вздохнул Бумбараш. И, глянув на свои заплатанные штаны цвета навозной жижи, он спросил:

— Костюм мой... пиджак синий... брюки — надо думать, тоже продали?

— Зачем продали, — нехотя ответила Серафима. — Я его к пасхе Василию обкоротила. Да и то сказать... материал — дрянь. Одна слава, что диагональ, а раз постирала — он и вылинял. Говорила я тебе тогда: купи костюм серый, а ты — синий да синий. Вот тебе и синий!

Бумбараш достал пару белья, кусок мыла. Ребятишки с любопытством поглядывали на его сумку.

Он дал им по куску сахару, и они тотчас же молча один за другим повывлетали за дверь.

Бумбараш вышел во двор и мимоходом заглянул в сарай. Там вместо знакомого Бурого коня стояла понурая, вислоухая кобылка.

«А где Бурый?» — хотел было спросить он, но раздумал, махнул рукой и прямо через огороды пошел на спуск к речке.

Когда Бумбараш вернулся, то уже пыхтел самовар, шипела на сковородке жирная яичница, на столе в голубой миске подрагивал коровий студень и стояла большая пузатая бутылка с самогонкой.

Изба была прибрана. Серафима приделась.

Умытые ребятишки весело болтали ногами, усевшись на кровати. И только тот самый Мишка, который сжег квитанцию, как замороженный стоял в углу и не спускал глаз с подвешенной на гвоздь Бумбарашевой сумки.

Вошел причесанный и подпоясанный Василий. Он держал нож и кусок посоленного свиного сала.

Как-никак, а брата нужно было встретить не хуже, чем у людей. И Серафима порядок знала.

В окошки уже заглядывали любопытные. В избу собирались соседи. А так как делить им с Бумбарашем было нечего, то все ему были рады. Да к тому же каждому было интересно, как же братья теперь будут рассчитывать.

— А я смотрю, кто это прет? Да прямо в сени, да прямо в избу, — торопилась рассказать Серафима. — «Господи, думаю, что за напасть!» Мы и панихиду отслужили, и поминки справили... Мишка недавно нашел где-то за комодом фотографию и спрашивает: «Маманька, кто это?» — «А это, говорю, твой покойный дядя Семен. Ты же, паршивец, весь

портрет измуслиякал и карандашом исчиркал!»

— Будет тебе крутиться! — сказал жене Василий и взялся за бутылку. — Как, значит, вернулся брат Семен в здравом благополучии, то за это и выпьем. А тому писарю, что бумагу писал, башку расколотить мало. Замутил, запутал, бумаге цена копейка, а теперь сами видите — вот, разделявайся как хочешь!

— Бумага казенная, — с беспокойством вставила Серафима. — На бумагу тоже зря валить нечего.

Самогон обжег Бумбарашу горло. Не пил он давно, и хмель быстро ударил ему в голову.

Он отвалил на блюде две полные пригоршни сахару и распечатал пачку светлого табаку.

Бабы охнули и зазвенели стаканами. Мужики крикнули и полезли в карманы за бумагой.

В избе стало шумно и дымно.

А тут еще распахнулась дверь, вошел поп с дьячком и прямо от порога рывкнул благодарственный молебен о благополучном Бумбараша возвращении.

— Варька Гордеева мимо окон в лавку пробежала... — раздвигая табуретки и освобождая священнику место, вполголоса сообщила Серафима. — Сама бежит, а глазами на окна зырк... зырк...

— А мне что? — не поворачиваясь, спросил Бумбараш и продолжал слушать рассказ деда Николая¹, который ездил на базар в Семикрутово и видел, как атаман Долгунец разгонял мужской монастырь.

— ...Выстроил, значит, Долгунец монахов в линию и командует: «По порядку номеров рассчитайся!» Они, конечно, монахи, к расчету непривычны, потому что не солдаты... а дело божье. К тому же оробели, стоят и не считаются... «Ах, вон что! Арихметику не знаете? Так я вас сейчас выучу! Васька, тащи сюда ведерко с дегтем!»

На что ему этот деготь нужен был — не знаю. Однако как только монахи услышали, ну, думают, уж конечно, не для чего-либо хорошего. Догадались, что с них надо, и стали выкликаться.

В аккурат сто двадцать человек вышло. Это окромя старых и убогих. Тех он еще раньше взашей гнать велел.

«Ну, говорит, Васька, вот тебе славное воинство. Дай ты им по берданке. Да чтобы за три дня они у тебя и штыком, и курком, и бонбою упражнялись. А на четвертый день ударим в бой!»

Те, конечно, как услышали такое, сразу и псалом царю Давиду затянули — и в ноги. Только двое вышли. Один росошанский — булочника Федотова сын. Морда — как тыква, сапогом волка зашибить может. Он еще, помнится, до монашества квашню с тестом пуда на три мировому судье на голову надел... А другой — тощий такой, лицо господское, видать — не из наших.

Долгунец велит: «А подайте им коней!» Гаврилка как сел, так и конь под ним аж придыхнул. А другой подобрал ряску да как скочит в седло, чуть только стремя коснулся.

Тогда Долгунец и говорит: «Васька, таких нам надо! Выдай им снаряжение, а рясы пусть не снимают... А вы, божьи молителы, — это он на остальных, — поднимайтесь да скачите отсюда куда глаза глядят. Кого на дороге встречу — трогать не буду. А если кого другой раз в монастыре застану — на колокольню загоню и велю прыгать... Васька, вынь часы, сядь у пулемета. И как пройдет три минуты пять секунд — дуй вовсю по тем, кто не ускачет».

А Васька — скаженный такой, проворный, как сатана, — часы вынул да шашть к пулемету.

Так что было-то! Как рванули табуном монахи. До часовни Николы Спаса одним духом домчали, а там за угол да врассыпную...

Монахов Бумбараш и сам недолюбливал. И рассказ этот ему понравился. Однако он не мог понять, что же этому Долгунцу надо и за кого он воюет.

— Натуральный разбойник! — объяснил Бумбарашу священник. — Бога нет, совести нет. Белых ему не надо, на красных он в обиде. Разбойник, и повадки все разбойничьи. Заскочил в усадьбу к семикрутовскому управляющему. Обобрал всё дочиста, а самого-то с женою, с Дарьей Михайловной, в одном исподнем оставил и говорит: «Изгоняю вас, как господь Адама и Еву из рая. Идите и добывайте в поте лица хлеб свой насущный... Васька, стань у врат, как архангел, и проводи с честью». Васька, конечно, — тьфу, мерзость! — шинель крылами растопырил и машет, и машет и пляшет, а сам поет матерное. В одной руке у него пистолет, в другой — сабля. Ну те, конечно, — что будешь делать? — так в исподнем и пошли.

— У Адама и Евы хоть вид был! — вставил охмелевший дед Николай. — А это же люди в теле. Срамота!

И этот рассказ Бумбарашу понравился, однако он опять-таки не понял, куда этот Долгунец гнет и что ему надо. Мимо окон рысцой проскакали пятеро всадников. Одежда вольная, сабель нет, но за плечами винтовки.

— Это красавинские... — объяснил Бумбарашу священник. — Самоохрана называется. Молодцы парни! И у нас тоже есть. Гаврила Полувалов за главного. К нему, должно, и поехали.

— Руки и ноги им поотрывать надо! — неожиданно выкрикнул охмелевший дед Николай. — Ишь что сукины дети затеяли...

— Молчал бы, старый пес!.. — огрызнулся кто-то.

— А что молчать? — поддержал деда щуплый, кривой на один глаз дьячок. — Да и вы-то, батюшка: говорить говорите, а к чему это — неизвестно. Наше дело — раздувай кадило и звони к обедне. Помилуй, мол, нас, господи. А вы вон что!

Надвигалась ссора. В избе переглянулись. Василий поспешно взялся за бутылку. Звякнули стаканы. Кругом зачихали, закашляли. Разговор оборвался.

— Яшка Курнаков идет, — пробормотала Серафима. — Принесло черта...

Быстро в избу вошел высокий парень в заплатанной голубой рубашке. На нем были потертые галифе, заправленные в сапоги. Смуглое, как у цыгана, лицо его было выбрито. Кепка сдвинута на затылок. Левая рука наспех завязана тряпицей.

— Семка! — засмеялся он и крепко обнял Бумбараша. — Ах, ты черт бессмертный! А я сижу наверху, крышу перебираю. Идет Варька. Я смотрю на нее. «Семен, говорит, вернулся». Я ей: «Что ты, дура!..» Она — креститься. Я рванул. А крыша, дрянь, гниль, как подо мной хрустнет, так я на чердак пролетел.

Мать из избы выскочила.

— Что ты, — кричит, — дьявол! Потолок проломишь...

Я схватил тряпку, замотал руку да сюда...

— Эк тебя задержало! — сердито сказала Серафима. — Батюшке локтем в ухо заехал. Да не трясина стол-то! Еще самовар опрокинешь...

Священник, и без этого обиженный грубыми словами кривого дьячка, поднялся, перекрестился, и за ним один по одному поднялись и остальные.

Когда изба опустела, Яшка Курнаков схватил Бумбараша за руку и потащил во двор. Мимо огорода прошли они к обрыву над рекой. Там, в копне на лужайке, где еще мальчишками прятались, поедая ворованный горох, огурцы и морковку, остановились они и сели.

Бумбараш рассказывал про свои беды, а Яшка его утешал:

— Придет пора — будет жена, будет изба! Дворец построим с балконом, с фонтанами! А Варьке голову ты не путай — раз отрублено, значит, отрезано. За тебя она теперь не

пойдет. А чуть что Гаврилка узнает, он ее живо скрутит. Он теперь в силе. Видал, верховые к нему поскакали?

— Охрана?

— Банду собирают. Я всё вижу. Это только одна комедия, что охрана. На прошлой неделе под мостом в овраге упродкомиссара нашли: лежит — пуля в спину. Недавно у мельницы Ваську Куликова, матроса, из воды мертвого вытащили, мне и то ночью через окно кто-то из винтовки как саданет! Пуля мимо башки жикнула! Посуду на полке — вдрызг, и через стену — навывлет. Скоро хлебную разверстку сдавать. Ну вот и заворочались.

— А красные что? Они где заняты?

— А у красных своя беда. На Дону — Корнилов. Под Казанью — чехи.

Яшка зажмурился. Точно подыскивая трудные слова, он облизал губы, пощелкал пальцем и вдруг напрямик предложил:

— Знаешь, Семен! Давай, друг, двинем в тобой в Красную Армию.

— Еще что! — с недоумением взглянул на Яшку озадаченный Бумбараш. — Да ты, парень, в уме ли?

— А чего дожидаться? — быстро заговорил Яшка. — Ну, ладно, не сейчас. Ты отдохни дней пяток-неделю. А потом возьмем да и двинем. Нас тут еще трое-четверо наберется: Кудрявцев Володька, Шурка Плюснин, Башмаковы братья. Я уже все надумал. У Шурки берданка есть. У меня бомба спрятана — тут на станции братишка у одного солдата за бутылку молока выменял. Ему рыбу глушить, а я забрал... Ночью подберемся, охрану разоружим, да и айда с винтовками.

От таких сумасшедших слов у Бумбараша даже хмель из головы вылетел. Он поглядел на Яшку — не смеется ли? Но Яшка теперь не смеялся. Смуглое лицо его горело и нахмуренный лоб был влажен.

— Так... так... — растерянно пробормотал Бумбараш. — Это, значит, из квашни да в печь, из горшка да в миску. Жарили меня, парили, а теперь — кушайте на здоровье! Да за каким чертом мне все это сдалось?

— Как — за чертом? Чехи прут! Белые лезут! Значит, сидеть и дожидаться? — И Яшка недоуменно дернул плечами.

— Мне ничего этого не надо, — упрямо ответил Бумбараш. — Я жить хочу...

— Он жить хочет! — хлопнув руками о свои колени, воскликнул Яшка. — Видали умника! Он жить хочет! Ему жена, изба, курятина, поросятина. А нам, видите ли, помирать охота. Прямо хоть сейчас копай могилы — сами с песнями прыгать будем... Жить всем охота. Гаврилке Полувалову тоже! Да еще как жить! Чтобы нам верхки, а ему корешки. А ты давай, чтобы жить было всем весело!

— Не будет этого никогда, — хмуро ответил Бумбараш. — Как это — чтобы всем? Не было этого и не будет.

— Да будет, будет! — почти крикнул Яшка и рассмеялся. — Я тебе говорю — дворец построим, с фонтанами. На балконе чай с лимоном пить будешь. Жену тебе сосватаем... Красавицу! Надоест по-русски — по-немецки с ней говорить будешь. Ты, поди, в плену наловчился. Подойдешь и скажешь... как это там по-ихнему? Тлям... Блям. Флям: «Дай-ка я тебя, Машенька, поцелую»... Как — не будет? погоди, дай срок, все будет.

Яшка умолк. Цыганское лицо его вдруг покривилось, как будто бы в рот ему попало что-то горькое. Он тронул Бумбараша за рукав и сказал:

— Позавчера на кордоне сторожа Андрея Алексеевича убить хотели. Не успели. В окно выпрыгнул. Ты мимо сторожки проходил, не заглянул ли?

— Заглянул, — ответил Бумбараш. — Изба брошена. Пусто!

Он хотел было рассказать о ночном случае, но запнулся и почему-то не сказал.

— Значит, скрылся... — задумчиво проговорил Яшка. — А оставаться ему там нельзя было. Он партийный...

Яшка хотел что-то добавить, но тоже запнулся и смолчал. Разговор после этого не вязался.

— Ты подумай все-таки! — посоветовал Яшка. — Сам увидишь: как ни вихляй, а выбирать надо. А к Варьке смотри не ходи, как друг советую. Да! — Яшка виновато замялся. — Ты смотри, конечно, не того... помалкивай...

— Мое дело — сторона, — ответил огорченный Бумбараш. — Я разве против? Я только говорю — сторона, мол, мое дело.

— «Сторона ль моя сторонushка! Э-эх, широко-окая, раздо-ольная...» — укоризненно покачивая головой, потихоньку пропел Яшка. — Ну вставай, пролетарий! — опять рассмеявшись, скомандовал он(самому себе) и одним толчком вскочил с травы на ноги.

Однако Бумбараш Яшкиного совета не послушался и в тот же вечер попер к Вареньке.

Вернувшись домой, чтобы отряхнуться от невеселых мыслей, он допил оставшиеся полбутылки самогона. После этого он сразу повеселел, подобрел, роздал ребятишкам еще по куску сахару, которые, впрочем, Серафима тотчас же у всех поотнимала, и подумал, что вовсе ничего плохого в том, что он зайдет к Вареньке, не будет. Он даже может зайти и не к ней, а к Гаврилке Полувалову. Дружбы у них меж собой, правда, не было, однако же были они почти соседи да и в солдаты призывались вместе. Только Бумбараш скоро попал в маршевую, а Гаврилке повезло, и он зацепился младшим писарем при воинском начальнике.

Бумбараш побрился, оцарапал щеку, потер палец о печку, замазал мелом синяк под глазом и, почистив веником сапоги, вышел на улицу.

У ворот полуваловского дома хрустели овсом оседланные кони. Бумбараш заколебался: не подождать ли, пока эта кавалерия уедет восвояси? Но, услышав через дверь знакомый Варенькин голос, он привычным жестом провел рукой по ремню, одернул гимнастерку и вошел на крыльцо.

В избе за столом сидели шестеро. В углу под образами стояли винтовки, на стене висела ободранная полицейская шапка — должно быть, Гаврилкина.

«Эк его разнесло! — подумал Бумбараш. — А усы-то отпустил, как у казака».

Увидав Бумбараша, Варенька, которая раздувала Гаврилкиным сапогом ведерный самовар, не сдержавшись, вскрикнула и быстро закрыла глаза ладонью, притворившись, что искра попала ей в лицо.

Гаврила Полувалов посмотрел на нее искоса. Обмануть его было трудно. Однако он не моргнул и глазом.

— Заходи, коли вошел! — предложил он. — Что же стоишь? Садись. Пей чай — вино выпили.

Варенька вытерла сапог тряпкой, подала его мужу. С Бумбарашем поздоровалась, но в лицо ему не посмотрела.

«Похудела! Похорошела! Эх, золото!» — не чувствуя к Вареньке никакой злобы, подумал Бумбараш.

Но молчать и глядеть на нее было неудобно. И он нехотя стал отвечать на вопросы, где был, как жил, что видел и как вернулся.

— Лучше было тебе и вовсе не ворочаться, — сказал Полувалов. — Такой вокруг развал, разгром, что и глядеть тошно. — И, пытливо уставившись на Бумбараша, он спросил! — С Яшкой Курнаковым видался? Он, собачья душа, поди-ка, тебе все уже расписал?

— Что Яшка! — уклончиво ответил Бумбараш. — Я и сам всё вижу.

— А что ты видишь? — насторожившись, спросил Полувалов. — Варвара, глянь-ка там за шкафом, не осталось ли чего в бутылке? Дай-ка, мы с ним за встречу выпьем.

Пить Бумбараш уже не хотел, но, чтобы задержаться в избе подольше, он выпил.

Красавинские охранники, не разгадав еще, что Бумбараш за человек и как при нем держаться, сидели молча.

— Дак что же ты видишь? — продолжал Полувалов. — Говори, слушаем. Мы-то тут ходим, тычемся носом, как слепые. А тебе со стороны, может, и виднее...

— Что Яшка! — опять уклонился от вопроса осторожный Бумбараш. — У Яшки —

свое, а у тебя — свое.

— Что же это у меня за «свое»? — враждебно спросил Полувалов, отыскав в словах Бумбараша вовсе не тот смысл, что Бумбараш вкладывал. — Что мне «свое»? Своего мне и так хватит. Я за всех вас, подлецы, стараюсь... У-у, погань! — скрипнув зубами, пробормотал он и смачно сплюнул, вероятно, опять вспомнив ненавистного Яшку.

«Нет, ты не слепой тычешься! — глянув на перекосившееся Гаврилкино лицо и вспомнив рассказ Яшки о пуле, пробившей окошко, подумал Бумбараш. — Таким слепцам на пустой дороге не попадайся!»

— Гаврила Петрович! — закричал снаружи бабий голос. — Беги-ка скорей в волсовет, там какая-то бумага пришла. Тебя ищут.

— Пропasti на них нет! То-то Гаврила Петрович да Гаврила Петрович! А чуть что — все в кусты! А в ответе опять один Гаврила Петрович... Идем! — поднимаясь с лавки, сказал он Бумбарашу. — Теперь не дождешься... я долго... — И, пропустив Бумбараша в сени, он, обернувшись к охранникам, сказал вполголоса: — А вы подождите. Что там за бумага? Я — скоро.

Только что Полувалов скрылся за углом, как Бумбараш быстро шмыгнул через калитку во двор, а оттуда — через коровник в сад, что раскинулся над оврагом.

Ждать ему пришлось недолго. Варенька стояла рядом и с испугом глядела ему в лицо.

— Ты что, Семен? — вздрагивающим шепотом спросила она. — Ты уходи.

— Сейчас уйду, — сжимая ее похолодевшую руку, ответил Бумбараш. — Как живешь, Варенька?

— Как видишь! Так тебя не убили?..

— Бог миловал. Да, смотрю, напрасно... Горько мне, Варенька! Что же ты поторопилась?

— Я не торопилась. А что было делать? Изба сгорела. Мать на пожаре бревном зашибло... Тебя убили... Господи, да кто же это такое придумал, что тебя убили! Уходи, Семен! В избе гости, мне идти надо...

— Сейчас уйду. Ты его любишь, Варенька?

— Не знаю. Страшный он. Беда будет... — бессвязно ответила Варенька. — Беги, Семен, он сейчас вернется!

— Он не вернется. Он сказал, что долго.

— Нет, скоро! Я сама слышала! Он хитрый... господи! — с мукой в голосе повторила Варенька. — Да кто же это такое придумал, что тебя убили!

Теплая слеза упала в темноте Бумбарашу на ладонь. Бумбараш покачнулся и почувствовал, что голова его быстро пьянеет. Луна слепила ему глаза, и мимо ушей свистел горячий ветер.

— Варенька! — сказал он, плохо соображая, что говорит. — Ты брось его... Уйдем вместе.

— Полоумный! — отшатнулась Варенька. — Что ты мелешь? Как уйдем? Куда?.. Под пулю?..

«И точно, куда уйдем? — подумал Бумбараш. — Уходить некуда...»

Варенька вырвалась и насторожилась.

— Беги, Семен! Кто-то идет! Сюда не приходи. Не надо!

Она отпрыгнула и скрылась за калиткой. Слышно было, как в коровнике звякнули ведра, и Варенька поспешно вбежала на крыльцо.

Бумбараш стоял, опустив голову, и ничего не соображал.

На крыльце опять послышались шаги. Если бы Бумбараш не был пьян, если бы он не был ослеплен луною и оглушен свистом ветра, то по тяжелому топоту он сразу бы угадал,

что это идет не Варенька — и не один, а двое.

Он шагнул к калитке и нарвался на Гаврилку Полуwalова и старшего из красавинской охраны, которые, чтобы их разговора никто не слышал, шли в сад.

— Стой! — крикнул Гаврилка и схватил Бумбараша за рукав.

Бумбараш двинул Гаврилку коленом в живот, отскочил в кусты и тотчас же получил сам тяжелый удар по голове — должно быть, железным кастетом.

Он зашатался... выровнялся, шагнул к оврагу... опять зашатался... хватаясь за ветви, выпрямился, оступился и, цепляясь за колючки, покатился под откос в овраг.

Очнулся он не сразу. Голова ныла. Лоб был мокрый — очевидно, в крови. Где-то рядом журчал ручей, Но луна скрылась, и пробраться через колючки к воде он не сумел. Кое-как выбрался он наверх и задами пошел к дому.

Через огород он вышел к себе во двор. Дома еще не спали. Он торкнулся — дверь была заперта. Он подошел к окошку: в избе сидели Василий, Серафима и ее отец — старик Николай. Говорили, очевидно, о нем — Бумбараше, — об избе, о костюме и о лошади...

— Добрые люди! — говорила Серафима. — Да разве же мы виноваты? У нас бумага.

— Печку растопить этой бумагой! А он скажет: «Вынь деньги да положи!» А где их возьмешь, деньги? Продали, прожили...

— Господи, вот принесла нелегкая! Ему что — он один. Куда хочешь пошел да нанялся. Хоть бы ты чего-нибудь, папанька, сказал, а то сидит бороду чешет! Вино для людей поставили — ан, старый сыч, и навалился, и навалился!

Бумбараш постучал в окно. Разговор разом оборвался. Выскочила Серафима.

— Дай-ка мне воды умыться, — не выходя на свет, попросил Бумбараш.

— Ты заходи в избу, там умоешься.

— Дай, говорю, сюда! И захвати полотенце, — настойчиво повторил Бумбараш.

— Давай полью! — сердито сказала Серафима, вынося полотенце и коврик. — Да куда ты прячешься? Подайся к свету... Батюшки! — тихо вскрикнула она, рассмотрев на лбу Бумбараша струйку запекшейся крови. — Семен, кто это тебя? — И, вдруг догадавшись, она спросила: — Ты у нее был? Гаврилка?..

— Серафима, — сказал Бумбараш, — я под окном все слышал... Вы с братом будете ко мне хороши, и я к вам хорош... буду. Смотрите, чтоб никому ни слова!.. Кинь мне что-нибудь на сеновале. Я там лягу.

— Да зайди хоть в избу!

— Не надо, — заматывая голову полотенцем, отказался Бумбараш. — А отцу скажи — захмелел, мол, Семен и на сеновал спать пошел. А больше смотри ничего...

На следующий день Бумбараш с сеновала не слезил. Если бы Гаврилка Полуwalов увидел его голову(то сразу догадался бы, кто это был вчера в саду, и тогда), Вареньке пришлось бы плохо.

Бумбараш решил отлежаться, а наутро чуть свет уйти в Россошанск и там переждать с недельку у дяди, который был жестянщиком.

Несколько раз с новостями прибежала на сеновал Серафима.

— Полуwalов к окошку подходил, — сообщила она. — Тебя спрашивал. «Он, говорю, на хутор к крестной пошел». — «Домой вечер от меня он не пьяный воротился?» — «Да нет, говорю, как будто бы в себе. Поиграл на Васькиной балалайке да и спать лег».

А на селе, Семен, что-то беспокойно. Охранники шмыгают туда-сюда. Люди болтают, будто приказ вышел — охраны больше не нужно и винтовки сдать на станцию. А Гаврилка будто бумагу эту скрывает. Кто их знает? Может быть, и враки? Разве теперь разберешь...

После обеда Серафима появилась опять:

— Варьку у колодца встретила. Вдвоем мы были. Больше никого. Вытянула она ведро да будто невзначай опрокинула. «Набирай, говорит, я передохну». А сама стоит и смотрит и, видать, мучается, а спросить боится... Я ей говорю: «Ты, Варвара, от меня не прячься...

Семен дома. На сеновале лежит». У ней, видать, дух захватило. «А что так?» — «Да голова у него малость побита и на лбу ссадина. Тебя выдать боится». — «Серафима! — шепчет она, а сама чуть не в слезы. — Христом богом тебя молю: скажи ты ему, чтобы схоронился он отсюда подальше. Вижу я, что к худому идет дело».

Тут она замолчала, ведро из колодца тянет. Руки, вижу, дрожат, а сама бормочет: «Пусть Семен Яшке Курнакову скажет: беги, мол, и ты, а то беда будет...»

А что за беда, я так и недослышала. Схватила Варька ведра да домой, чуть не бегом.

К вечеру Серафима рассказывала:

— Яшка Курнаков приходил. Тебя ищет. Я ему говорю: «Дома нету, кажись, в рощу, на пасеку к крестному, пошел. Не знаю — вернется, не знаю — там заночует... Яшка, — говорю ему, — ты берегись. Люди думают, как бы тебе от Гаврилки плохо не было».

Как плюнет он на землю, сам озирается, а руку из кармана не вынимает. «Ой, думаю, в кармане у тебя не семечки...»

— Яшке сказаться надо было, — подосадовал Бумбараш. — Если еще придет, ты его сюда пошли.

— А кто тебя знает! Говорил — молчи, я всех и отваживаю. Оставь ты, Семен, не путайся с ними!.. Я вот ему, паршивцу, я вот ему, негоднику! — зашипела вдруг Серафима, увидав через щель крыши, что пузатый Мишка поймал серого утенка и ловчится засунуть его в мыльное корыто. — И этот тебя весь день тоже ищет, — тихонько рассмеялась Серафима. — «Где дядька? Дядька, говорит, богатый, с сахаром». Ты будешь уходить, Семен, оставь сахару сколько ни то. Сладкого-то у них давно и в помине нету.

— Ладно, ладно! — поморщился Бумбараш. — Вы только глядите помалкивайте...

— Господи, что мы — чужие, что ли? Я уж, кажись, и так — как могила.

Перед тем как лечь спать, он захотел пить, но нечаянно опрокинул чашку с квасом на сено. Спуститься вниз он не решился. В углу крыши зияла широкая дыра, над которой раскинулись ветви густой яблони. Бумбараш встал, сорвал на ощупь яблоко, сунул его в рот и раздвинул влажные листья.

Перед ним раскинулось звездное небо, — и среди бесчисленного множества он теперь сразу нашел те три звезды, из-за которых он попал в плен, болел тифом, цингой, потерял избу, костюм, коня и Вареньку...

Это случилось при отступлении от Ломбежа на Большую Мшанку.

Бумбараш заскочил в хату батальонного штаба, чтобы спросить вестовых, куда, к черту, провалилась восьмая рота. Бородатый офицер, кажется прапорщик, сидя на корточках, кидал в печку остатки бумаг и, чтобы быстрее горели, ворошил их почерневшим клинком шашки.

Он всучил оторопевшему Бумбарашу перевязанный телефонным проводом сверток, вывел на крыльцо и острием шашки показал на горизонт.

— Подними морду и смотри левее, — приказал он. — Иди до околицы, там свернешь вон на эти три звезды: две рядом, одна ниже. Дальше идти прямо, пока не наткнешься на саперный взвод у переправы. Там найдешь адъютанта третьего батальона. Передашь сверток, возьмешь расписку и отдашь ее командиру своей роты.

Бумбараш повторил приказ и, проклиная свою несчастную долю, которая подтолкнула его заскочить в хату, попер полем, время от времени задирая голову к небу.

Он был голоден, потому что шрапнельный снаряд разбил ротную кухню как раз в ту минуту, когда кашевар отвинчивал крышку котла с горячими щами.

Но всего только час назад ему посчастливилось стянуть из чужой каптерской повозки банку с консервами. Банка была без этикетки, и вместе с голодом его одолевало любопытство — рыбные это консервы или мясные?

Выбравшись в поле, он опустил на траву, достал кусок кукурузного хлеба, снял штык и пробил в жестяной крышке дырку. Чтобы не потерять ни капли, он быстро опрокинул банку ко рту.

Липкая, едкая, пахнувшая бензином краска залила ему губы, ударила в нос и обожгла

язык. Отплевываясь и чертыхаясь, он вскочил и понесся отыскивать воду.

Долго полоскал он рот, скреб язык ногтем, вытирал рукавом губы и жевал траву.

Наконец, убедившись, что дочиста все равно не отмоешь, еще более голодный и усталый, чем раньше, он зашагал по полю. Надо было торопиться.

Он поднял голову, разыскивая свои путеводные звезды, однако там, куда он смотрел, их не было.

Он вертел голову направо-налево. Ему попадались созвездия, раскинувшиеся и крючками, и хвостами, и ковшами, и крестом, и дыркою... Но тех трех звезд — две рядом, одна пониже — он не мог разыскать никак. Тогда он пошел наугад и через час нарвался в упор на головную заставу австрийской колонны.

Бумбараш съел яблоко и взялся поправлять свое измятое логово. Глухой взрыв ударил по ночной тишине.

Бумбараш вскочил на ноги.

«Бомба! — сразу же догадался он. — Для снаряда слабо, для винтовки крепко. Кто бросает?..»

Почти следом раздались три-четыре выстрела. Потом стихло. Потом уже не переставая, то приближаясь, то удаляясь, редкие выстрелы защелкали с разных сторон.

«Чтоб вам и на том свете не было покою! — обозлился Бумбараш. — И когда это все кончится!»

Он кинулся на сено, укрылся шинелью и решил назло спать, хотя бы на улицах дрались в штыковую.

— Хватит! — бормотал он. — Я к вам не лезу. Отвоевался...

Однако для спанья время он выбрал плохое. Кто-то забежал во двор и тихонько постучал в форточку. Вскоре на сеновал взобралась запыхавшаяся Серафима.

— Семен! — позвала она. — Вставай, Семен! Скорее!

— Что надо? — огрызнулся Бумбараш. — Убирайтесь вы к черту! Я спать хочу!

— Вставай, очумелая башка! — ахнула Серафима. — Слезай! Бери сумку. Внизу Варька.

Одним махом Бумбараш слетел на кучу навоза, и тотчас же из темноты к нему подскочила Варенька.

— Беги! — зашептала она. — Тебя ищут! Яшка Курнаков бросил бомбу. Забрали три винтовки... Шурку Плюснина убили... Гаврилка думает, что ты с ними заодно. Найдут — убьют!

— Погоди! — вскидывая сумку за плечи, пробормотал разгневанный Бумбараш. — Я еще вернусь! Я ему убью! Дай только разобраться...

Выстрелы раздавались все ближе и ближе. Но стреляли, очевидно, наугад, без толку.

— Ну, бог с тобой, уходи, уходи! — заторопила Серафима. — Мимо воробьевской бани ступай, прямо через речку, вброд — там мелко.

— Через мельницу не ходи, — прошептала Варенька, — там наши... банда. Пусти, Семен, теперь уже нечего!

Она вырвалась и убежала.

В избе захныкали потревоженные ребятишки.

Бумбараш выломал из плетня жердь и, не сказав ни слова, зашагал через огородные грядки к спуску на речку.

Серафима перекрестилась и юркнула в избу.

Через минуту в окошко застучали. Серафима молчала. Тогда забарабанили громче и загрохали прикладом в калитку.

Серафима с яростью распахнула окно и плюнула прямо кому-то в морду.

— Ах ты, бесстыжая рожа! — взвизгнула она на всю улицу. — Ты, Пашка, чего безобразишь? С постели соскочить не дают! Мужик больной, детей до смерти перепугали! Ты бы еще оглоблей в стену!.. Ну, чего надо? Нету, говорю, Семена! Так вам с утра еще

было и сказано. Идите ищите! Нам он и самим как прошлогодний снег на голову... Да что ты мне своим ружьем в грудь тычешь? Так я твоей пули и испугалась!

Проснулся Бумбараш под стогом сена верстах в десяти от Михеева и в тридцати — от Россошанска.

Утро было теплое, солнечное. На речке гоготали гуси. Под горою, на лугу, ворочалось коровье стадо.

По дороге тархтели телеги, и с котомками за плечами шли мирные путники.

И чудно было даже вспомнить и подумать, что по всей этой широкой, спокойной земле, куда ни глянь, куда ни кинь, упрямо разгоралась тяжелая война.

Бумбараш подошел к ручью, умылся, напился, а позавтракать решил в деревне Катрёмушки, до которой оставалось уже недалеко.

И странное дело... Шагая по мягкой проселочной дороге, пропуская обгонявшие его подводы, здороваясь с встречными незнакомыми пешеходами, под лучами еще не жаркого солнца, под свист, треньканье и брэнчанье лесных пичужек, впервые ощутил Бумбараш совсем неведомое ему чувство — безразличного покоя.

Впервые за долгие годы он ничего не ждал и сам знал точно, что и его нигде не ждут тоже. Впервые он никуда не рвался, не торопился: ни с винтовкой в атаку, ни с лопатой в окопы, ни с котелком к кухне, ни с рапортом к взводному, ни с перевязкой в лазарет, ни с поезда на подводу, ни с подводы на поезд. Все, на что он так надеялся и чего хотел, — не случилось. А что должно было случиться впереди — этого он не знал. Потому что не был он ни ясновидцем, ни пророком. Потому что из плена вернулся он недавно и то, что вокруг него происходило, понимал еще плохо.

Вот почему, подбитый, небритый, одинокий, Бумбараш шагал ровно, глядел если не весело, то спокойно и даже насвистывал, скривив губы, австрийскую песенку о прекрасной герцогине, которая полюбила простого солдата.

На перекрестке, там, где дорога расходилась влево — на Семикрутово, прямо — на Россошанск, вправо — к станции, — не доходя с версту до деревни Катрёмушки, стояла на холме прямая, как мачта, спаленная молнией береза.

Береза была тонкая, гладкая, почти без сучьев, и было совсем непонятно, как и зачем у самой обломанной вершины ее кто-то сидел.

— Эк куда тебя занесло! — останавливаясь возле дерева и задирая голову, подивился Бумбараш. — Глядите, какой ворон-птица!..

То ли ветер качнул в это время надломленную вершину, то ли «ворон-птица» не так повернулся, но только он по-человечьи вскрикнул, и неподалеку от Бумбараша упал на траву железный молоток.

«Плохо твое дело! — подумал Бумбараш. — Эк тебя занесло! Теперь возьми-ка, спускайся...»

— Дядька, здравствуй! — раздался сверху пронзительный голос. — Дядька, подай мне молоток!

— Дура! — рассмеялся Бумбараш. — Что я тебе, обезьяна?

— Я бечевку спущу, а ты привяжи...

— Если бечевку, тогда дело другое, — согласился Бумбараш и, скинув сумку, стал дожидаться.

Прошло несколько минут, пока бечевка с сучком на конце опустилась и остановилась сажени за две до протянутой руки Бумбараша.

— Не хватает! — крикнул Бумбараш. — Спускай ниже.

— Сейчас, погоди. Надвяжу пояс.

Сучок опустился еще немного, но и этого было мало.

— Не хватает! — опять закричал Бумбараш. — Спускай ниже, а то уйду...

— Сейчас! — донесся встревоженный голос.

Видно было, как мальчуган, осторожно перехватываясь за корешки сучьев, снял рубашку и надвязал пояс к рукаву.

— Все равно не хватает. Давай, что еще есть!

— Что же мне — штаны скидывать, что ли? — послышался сердитый ответ.

— Да ты давай сам подлезь маленько.

— Еще не было нужды!

Однако и на самом деле обидно было не достать конец бечевки, до которой оставалось не больше чем два аршина.

Бумбараш скинул шинель и, вспомнив солдатскую гимнастику, полез вверх.

Сунув молоток в петлю, обдирая гимнастерку и руки, он соскользнул на землю.

— Дядька, спасибо! — поблагодарили его сверху. — Куда уходишь? До свиданья!..

Но Бумбараш не уходил еще никуда. Просто опасаясь, как бы сорвавшийся молоток не брякнулся ему на голову, он отошел к опушке и сел на пенек, собираясь посмотреть, чем же теперь все это дело кончится.

Видно было, как мальчишка прижимает телом вдоль ствола какой-то темный жгут и как, раскачиваясь на ветру, он ловко орудует молотком.

Вот он забил последний гвоздь, торжествуя вскрикнув, опустил жгут, и большое полотнище красного флага с треском взметнулось по ветру.

Зачем на перекрестке лесных дорог должен был торчать флаг — этого Бумбараш не понял никак. Так же как не поняла, по-видимому, и проезжавшая на возу баба, которая всплеснула руками и поспешно ударила вожжой по коняшке, очевидно рассуждая, что раз тут затевается что-то непонятное, то лучше убраться — от греха подальше.

Не дожидаясь, пока мальчишка слезет, Бумбараш двинул дальше и скоро очутился в деревне Катремушки, которая, как он увидел, была занята отрядом красноармейцев.

Красным Бумбараш ничего плохого не сделал, и потому он смело зашел в дом, где жила знакомая старуха.

Но старуха эта, оказывается, давно померла, и дома была только рябая баба — жена ее сына, которая занималась сейчас стиркой. Бумбараша она не знала.

Он спросил у нее, можно ли остановиться и отдохнуть.

— Чай, хлеб, баба, твой, — сказал Бумбараш, — сахар мой, а пить будем вместе.

Услыхав про сахар, баба вытерла о фартук мыльные руки и в нерешительности остановилась.

— Уж не знаю как, — замялась она. — В горнице у меня какой-то начальник стоит. Да и углей нет. Разве что лучиной?

— Эка беда — начальник! — возразил Бумбараш. — Что мне горница, я попью и на кухне. А лучину наколоть долго ли? Это я и сам мигом.

— Уж не знаю как, — оглядывая с ног до головы грязного Бумбараша, все еще колебалась баба. — Да ты, поди, и про сахар не врешь ли?

— Я вру? — доставая из сумки пригоршню и потряхивая ею на ладони, возмутился Бумбараш. — Да мы, дорогая моя королева, внакладку пить будем!

Рябая баба рассмеялась и пошла за самоваром.

Вскоре нашлись и теплая вареная картошка, и хлеб, и молоко... Бумбараш позавтракал, напился чаю и почувствовал, что его клонит ко сну.

В самом деле, всю ночь, мокрый и грязный, он был на ногах, заснул у стога сена только под утро и спал мало.

«Торопиться некуда. Дай-ка я посплю, — решил он. — А пока сплю, пусть баба выстирает гимнастерку и брюки. Хоть к дядьке приду человек человеком. Да пускай заодно и воротник у шинели иглой прихватит, а то болтается, как у богатого».

Он пообещал бабе десять кусков сахара, и она показала ему во дворе плетеную

клетушку с сеном.

— Тут и спи, — сказала она. — А в чем же ты спать тут будешь? Нагишом, что ли?

— Давай поищи что-нибудь из старья мужниного. Спать — не на свадьбу.

Баба покачала головой. Долго рылась она в чулане. Наконец достала такую рванину, что, разглядев ее на свету, и сама остановилась в раздумье.

— Уж не знаю, чего тебе. Разве вот это?

— Не нашла лучше! Пожадничала... — пробурчал Бумбараш, напяливая на себя штаны и пиджак, до того изодранные, излохмаченные, что годились бы разве только огородному пугалу.

— Экий ты стал красавец! — забирая одежду, рассмеялась баба. — Ложись скорей, а то вон начальник идет. Глянет да испугается.

Спал Бумбараш долго. Когда он проснулся, то во дворе рябой бабы уже не было. Рядом с клетушкой, у скамьи под яблоней, разговаривали двое — командир и мальчишка.

— Дурак ты был, дураком и остался, — со сдержанной досадой говорил командир. — Ну скажи: зачем тебя понесло на дерево и зачем ты приколотил флаг? Вот прикажу сейчас красноармейцам, чтобы достали и сняли.

— Разве же кто долезет? — усмехнулся мальчишка. — Да им в жизнь никому не долезть! Там наверху сучья хрупкие. Как брякнется, так и не встанет.

— Это уж не твоя забота. Раз я прикажу, значит, достанут... Ну что ты тут вертишься? Добро бы, какой сирота был. Иди домой! Ты думаешь, у нас всё гулянки? Вот пойдут бои, на что ты тогда нам сдался?

— Вот еще! Дали бы мне винтовку, и я бы с вами. Я смелый! Спросите у Пашки из третьего взвода. Он говорит: «Дай-ка я над твоей головой раза три из винтовки бахну — сразу штаны станут мокрые». А я говорю: «Хоть все пять, пожалуй!» Стал я у стенки. Он раз — бабах! Два, три! А я стоял и даже не моргнул глазом.

— Я вот ему покажу, сукину сыну! — рассердился командир. — Я ему дам штук пять не в очередь! Тоже, балда, нашел дело!

— Наврал я про Пашку, — помолчав немного, ответил мальчуган. — Это я вас хотел раззадорить. Думаю: может, разоидется. «Ах, скажет, была не была, давай приму».

— Куда приму?

— Известно куда. К вам в отряд.

— Опять на колу мочала, начинай сначала. Меня твоя мать о чем просила? «Гоните, говорит, его прочь, пусть лучше делом займется, а не шатается, как безродный».

— Так ведь она же глупая, товарищ командир! Разве же ее переслушаешь?

— Это ты на родную мать-то... глупая? Хорош гусь! Пошел с моих глаз долой! Слушать тебя и то противно.

— Конечно, глупая, — упрямо повторил мальчуган. — Недавно зашел к нам на квартиру какой-то комиссар, что ли, а с ним девка с бумагами. «Сколько, — спрашивает он, — детей? Да кто был муж? Да сколько денег получаешь?» А она стоит и трясется. Я ей говорю: «Мама, ты чего трясешься? Это же советский». Все равно трясется. А чего бояться! Вот вы, например, начальник, однако же я стою и не боюсь.

— Послушай, ты, — помолчав немного, спросил командир, — как тебя зовут?

— Иртыш, — подсказал мальчик.

— Постой, почему же это Иртыш? Тебя как будто бы Иваном звали... Ванькой...

— То поп назвал, — усмехнулся мальчишка. — А теперь не надо. Ванька! И названье-то какое-то соплениное. Иртыш лучше!

— Ну ладно, пусть Иртыш. Так вот что, Иртыш — смелая голова, в отряд я тебя все равно не возьму. А вот, если хочешь сослужить нам службу, я тебе дам пакет. Беги ты назад в Россошанск и передай его там военному комиссару.

— Да вы, поди, там напишете какую-нибудь ерунду. Так только, чтобы от меня отделаться, — усомнился Иртыш. — А я и понесусь как дурак, язык высунувши.

— Вот провалиться мне на этом месте, что не ерунду, — побожился командир. — Так, значит, сделаешь?

— Ладно, — согласился Иртыш. — Только, если обманете, я вас все равно найду. Стыдить буду.

Когда они ушли, заспанный Бумбараш вылез из своей берлоги, Надо думать, что вид его был очень страшен, потому что, увидев его, бежавшие по двору ребяташки с воем бросились врассыпную.

— Отоспался? — высовываясь из окна, спросила его рябая баба. — Заходи в избу, щей налью. Мы отобелади.

Бумбараш сел за стол и вытащил свою ложку.

— Ушел командир? — спросил он, прислушиваясь к тиканью часов в горнице. — Командир, я смотрю, у вас добрый.

— Добрый, — согласилась баба. И, зевнув, она добавила: — На кого как. Вчера вечером у нас тут под оврагом шпиёна одного расстреляли. Хлюпкий такой шпиён, а в мешке три бомбы...

На кухню вошел красноармеец, но судя по нагану у пояса, тоже какой-нибудь старшой.

— Командир здесь?

— Нету. Сказал, что скоро придет.

Красноармеец сел на лавку и внимательно посмотрел на хлебавшего щип Бумбараша.

— Это что же, здешний? — не вытерпев, наконец спросил он.

— Нет. Прохожий, — ответила баба.

— А...

Опять посидели молча.

— А это чья? — спросил красноармеец, показывая на висевшую в углу шинель.

— Моя шинель, — ответил Бумбараш. — А что надо?

— Ничего. Так спрашиваю.

Баба выдернула из стены иголку и сняла шинель, собираясь зашить порванный воротник.

— Экая у тебя шинель поганая! — укоризненно сказала она, — выворачивая грязные карманы и обшлага. — Такую шинель только перед порогом постлать на подтирку... Это что у тебя за рукавом, бумага? Нужная?

Бумбараш передернуло. Это был тот самый пакет, который бог знает зачем взял он от мужика ночью в кордонной избушке. А кому был этот пакет и что еще в нем было написано — этого он так и не знал.

— Нет, — грубо ответил он. — Брось на растопку.

Красноармеец быстро поднял с шестка пакет и распечатал.

Лицо его сразу же покрылось потом, он читал про себя, по складам, не переставая наблюдать за движениями Бумбараша и не спуская руки с расстегнутой кобуры нагана.

— Поднимайся! — сказал он таким хриплым голосом, как будто бы его Душили за горло.

Баба взвизгнула и уронила шинель. Бумбараш хотел было объяснить, кто он и откуда, но красноармеец глядел на него глазами, горевшими такой дикой ненавистью, что Бумбараш смолчал и решил, что лучше будет держать ответ перед самим командиром.

Он взял сумку и, в чем был, так и пошел впереди вынужденного свой наган конвоира, возбуждая всеобщий страх и любопытство.

У крыльца штаба была привязана верховая лошадь. На ступеньках, облокотившись о винтовку, сидел молодой красноармеец.

— Проходи! — скомандовал конвоир Бумбарашу. — Встань, Совков, дай дорогу!

— К командиру нельзя! — не поднимаясь, ответил красноармеец. — Командир заперся с каким-то партийным. Видишь, лошадь...

— Сам ты лошадь! Видишь, дело важное!

— Ну иди, коли важное. Он тебе шею намылит.

Конвоир замялся.

— Совков, — сказал он, — покарауль-ка этого человека. А я зайду сам, доложу. Да смотри, чтобы не убег.

— Пуля догонит, — самоуверенно ответил Совков. — Давай проходи. Да глянь на часы — много ли время.

Не поворачивая головы, Бумбараш зорко осматривался. Ворота во двор штаба были приоткрыты. Забора на той стороне не было, недалеко за баней начинался кустарник, потом овражек, потом опять кустарники — уже до самого леса.

«А кто его знает, — как еще рассудит командир? — с тревогой подумал Бумбараш, вспомнив рассказ хозяйки о расстрелянном шпионе. — Да и пойди-ка докажи ему, что пакет не твой. Доказать трудно... А пуля не догонит, — решил он, приглядываясь к лицу красноармейца. — Не та у тебя, парень, хватка!»

Он наклонил голову, поднес ладонь к глазам, как будто бы протирая веки, и, вдруг выпрямившись, ударил красноармейца ногой в живот.

Научили Бумбараша австрийские пули и прыгать зайцем, и падать камнем, и катиться под гору колом, и, втискивая голову меж кочек, ползти ящерицей.

И оказался он под стеклом командирского бинокля уже возле самой опушки. Видно было, как он остановился, поправил сумку и, пошатываясь, ушел в лес.

Опасаясь погони, он не пошел по Россошанской дороге и долго плутал по лесу, пока не вышел на ту, что вела в Семикрутово.

Уже совсем стемнело. Через дыры его лохмотьев проникал сырой ветер. На траву пала роса. Нужно было думать о ночлеге, о костре, а тут еще, как нарочно, оказалось, что оставил он не только шинель, но и в кармане ее — спички.

Он шел, зорко оглядываясь по сторонам — не попадет ли хотя бы стожок сена, и вот заметил далеко, в стороне от дороги, мигающий огонек костра.

«Раз костер — значит, и люди», — раздумывал Бумбараш.

Однако, вспомнив, что за все последнее время, начиная от лесной сторожки, каждая встреча приносила не одну, так другую беду, он решил подобраться незаметно, чтобы узнать сначала, что там у костра за люди и чего от них можно ожидать плохого.

Добравшись до мелкой дубовой поросли, он опустился на четвереньки и вскоре подполз вплотную к костру, возле которого — как он разглядел теперь — сидели два монаха.

«Семикрутовские! — решил Бумбараш. — От Долгунца бегают».

И он затих, прислушиваясь к их неторопливому разговору.

— Ты еще этого не помнишь, — говорил черный монах рыжему. — Был у нас некогда пекарь — брат Симон. Человек, надо сказать, характера тихого, к работе исправный, но пил.

— Помню я, — отозвался рыжебородый. — Он из просфорной два куля муки стянул да осколок медного колокола цыганам продал.

— Эх, куда хватил! То был Симон-послушник, вор, бродяга! Его после, говорят, в казанской тюрьме за разбой повесили... А этот Симон был уже в летах, характера тихого, но, говорю, пил. Бывало, игумен, тогда еще отец Макарий, ему скажет: «Симон, Симон! Почто пьешь? Терплю, терплю, а выгоню».

А брат Симон кроткий был. Как сейчас вот помню: стоит он пьяненький, руки на животе вот так сложит, а в глазах мерцание... этакое сияние. «Прости, говорит, отец игумен, к подвигу готовлюсь». А отец Макарий характера был крутого. «Если, говорит, сукин сын, все у меня к подвигу через пьянство будут готовиться, а не через пост и молитву, то мне возле трапезной кабака открывать придется».

Рыжебородый монах ухмыльнулся, подвинул свои короткие ноги в лаптях к огню и покачал плешивой, круглой, как тыква, головой.

— А ты не осуждай! — строго оборвал его рассказчик. — Ты раньше послушай, что дальше было. Вот стоим мы единожды у малой вечерни с каноном. Служба уже за середку перевалила: уже из часослова «Буди, господи, милость твоя, яко же на тя уповаем»

проскочили. Вдруг заходит брат Симон, видать — выпивши, и становится тихо у правого крылоса.

А надо сказать, что крепко-накрепко было игуменом наказано, что если брат Симон не в себе — не допускать в храм спервоначалу увещеванием, а ежели не поможет, то гнать прямо под зад коленкой.

И как он смело через дверь прошел — уму непостижимо. А от крылоса гнать его уже неудобно. Шум будет. Стою я и думаю: «Ну, господи, только бы еще не облевал!»

А служба идет своим чередом. Только возгласили ирмос: «Ты же, Христос, господь, ты же и сила моя», как наверху треснет, как крякнет! Стекла, как дождь, на голову посыпались. А у нас снаружи на лесах каменщики работали. Возьми леса да и рухни! Одно бревно, что под купол подводили, как грохнуло через окно и повисло ни туда ни сюда. Висит, качается... Как раз над правым приделом. А сорвется(а под ним икона) — все сокрушит вдрызг. Мы, братья, конечно, кто куда, в стороны. Смалодушествовали...

Вдруг видим, брат Симон — к алтарю, да по царским вратам, с навеса на карниз, да от того места, где нынче расписан сожской великомученицы Дарьи лик, — и пошел, и пошел...

Карниз узкий — только разве кошке пробраться, а он лицом к стене оборотился, руки расставил — в движениях легкость такая, как бы воспарение. Сам поет: «Тебя, бога, славим». И пошел, и пошел... Господи! Смотрим — чудо в яви: добрался он до окна, чуть бревно подтолкнул, оно и вывалилось наружу. Постоял он, обернулся, видим — качается. Вдруг как взревет он не своим голосом да как брякнется оттуда о пол! Тут он и богу душу отдал. Так потом сколько верующих на леса к тому карнизу лазили! Один купец попытался. «Дай, говорит, я ступлю». Ступил раз-два да на попятную... «Нет, говорит, бог меня за плечи не держит... Аз есмь человек, но не обезьяна, а в цирке я не обучался». Дал на свечи красненькую и пошел восворяси.

Рыжебородый опять покачал головой и усмехнулся.

— Чего же ты ухмыляешься? — сердито спросил черный.

— Да так... сияние... воспарение... Вот, думаю, заставил бы Долгунец всех нас подряд с колокольни прыгать — поглядел бы я тогда, какое оно бывает, воспарение... Господи, помилуй! Кто там?

Тут оба монаха враз обернулись, потому что из-за кустов выполз лохматый, рваный, похожий на черта Бумбараш.

— Мир вам, — подвигаясь к костру, поздоровался Бумбараш.(Слышал я нечаянно ваш рассказ. У нас на деревне в старину с цыганом тоже вроде этого случилось.)

— И тебе тоже, — ответил рыжебородый. — Говори, чего надо? Если ничего, то проваливай дальше.

— Земля широка, — подхватил другой. — Места много... а мы тебя к себе не звали.

На коленях у рыжебородого лежал тяжелый посох, а рука черного очутилась возле горящей с одного конца головешки.

— Мне ничего не надо, — злобно ответил Бумбараш. — Глядим мы с товарищами — горит огонь. Говорят мне товарищи: «Пойди узнай, что там за люди и что им здесь на нашей земле надо».

Монахи в замешательстве переглянулись.

— Садись, — поспешно освобождая место у костра, предложил чернородый. — А кто же твои товарищи и на чью землю мы попали?

Бумбараш усмехнулся. Он развязал сумку, достал оттуда позолоченную пачку табаку — такого, какого давно в этих краях и в глаза не видали. Свернул сигарку и только тогда неторопливо ответил:

— А земля эта вся на пять дорог — Россошанскую, Семикрутовскую, Михеевскую, на Катремушки и до Мантуровских хуторов — дана во владение нашему разбойничьему атаману, храброму Ивану Иванюку(над которым нет другого начальника, кроме самого преславнейшего Долгунца).

Монахи еще в большем замешательстве переглянулись. Рыжебородый опрокинул

вскипевший чайник, черный быстро глянул на свои пожитки, тоже собираясь сейчас же вскочить и задать тягу.

И только похожий на черта Бумбараш важно сидел, поджав ноги, выпуская из носа и рта клубы пахучего дыма, и был теперь очень доволен(что он так ловко поджал хвосты негостеприимным монахам).

— Ты скажи им, — медленно подбирая слова, заговорил чернобородый, — что мы с братом Панфилием двое странствующие. Добра у нас(никакого) нет — вот две котомки да это(он показал на черный сверток)... монашья ряса — от брата нашего Филимона, который скончался вчера, свалившись в каменоломную яму, и был сегодня погребен. А через это задержались мы и не дошли, где бы постучаться на ночлег. И скажи, что тут бы пробить нам только до рассвета. А чуть свет пойдут, мол, они с божьей помощью дальше.

— Ладно, — вытягивая из костра печеную картошку, согласился Бумбараш. — Так и скажу.

Но пока он, обжигая пальцы, счищал обуглившуюся кожуру, рыжебородый, который все время сидел и вертел головой, вдруг подмигнул черному и незаметно помахал толстым пальцем над своей плешивой головой. Очевидно, им овладело подозрение. И хотя курил Бумбараш табак из золоченой пачки, но был он для разбойника слишком уж худо одет, оружия при нем не было. Кроме того, для владетельного разбойника с пяти дорог с очень уж он большой жадностью поедал картошку за картошкой.

— А где же твои товарищи? — осторожно спросил рыжебородый.

И Бумбараш увидел, что толстый посох опять очутился у рыжего на коленях, а рука черного снова оказалась возле обуглившейся головешки.

— Да, — подхватил черный, — а где же твои товарищи? Ночь темная, прохладная, а ни костра, ни шуму...

— Вон там, — неопределенно махнул рукою Бумбараш и уже подтянул сумку, собираясь вскочить и дать ходу.

Но на этот раз счастье неожиданно улыбнулось Бумбарашу. Далеко, в той стороне, куда наугад показал он рукой, мелькнул вдруг огонек — один, другой... Шел ли это запоздалый пешеход и чиркал спичкой, закуривая на ветру сигарку или трубку. Ехали ли телеги, шел ли отряд, но только огонек, блеснув два раза яркой сигнальной искрой, потух.

И снова монахи в страхе глянули один на другого.

— Вот что, святые отцы, — грубо сказал тогда Бумбараш, забирая лежавший рядом с ним широкий подрясник покойного отца Филимона, — я ваши ухватки все вижу! Но уже сказано в священном писании: как аукнется, так и откликнется.

Он заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Озорное эхо откликнулось ему со всех концов леса, и не успели еще ошеломленные монахи опомниться, как он скрылся в кустах.

Но этого ему было мало. Отойдя не очень далеко, он загогокал протяжно и глухо... Потом засвистел уже на другой лад... потом, перебравшись далеко в сторону, приложил руки ко рту и загудел, подражая сигналу военной трубы, затем поднял чурбак и принялся колотить им о ствол дуплистой сосны.

Наконец он утомился. Переждал немного и крадучись вернулся к костру. Монахов возле него не было и в помине. Он набросал около костра травы, положил в изголовье сумку, укрылся просторным подрясником и, утомленный странными событиями минувшего дня, крепко уснул.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С пакетом за пазухой, с ременной нагайкой, которую он нашел близ дороги, Иртыш — веселая голова смело держал путь на Россошанск.

В кармане его широких штанов брнчали три винтовочных патрона, предохранительное кольцо от бомбы и пустая обойма от большого браунинга. Но самого

оружия у Иртыша — увы! — не было.

Даже по ночам снились ему боевые надежные трехлинейки, вороненые японские «арисаки», широкоствольные, как пушки, итальянские «гра», неуклюжие, но дальнобойные американские «винчестеры», бесшумно скользящие затвором австрийские карабины и даже скромные однозарядные берданы. Все они стояли перед ним грозным, но покорным ему строем и нетерпеливо ожидали, на какой из них он остановит свой выбор.

Но, мимо всех остальных, он уверенно подходил к русской драгунке. Она не так тяжела, как винтовки пехоты, но и не так слаба, как кавалерийский карабин. Раз, два!.. К бою... готовься!

Иртыш перескочил канаву и напрямик через картофельное поле вошел в деревеньку, от которой до Россошанска оставалось еще верст пятнадцать. Здесь надо было ночевать.

Он постучался в первую попавшуюся избу. Ему отворила красивая черноволосая, чуть постарше его, девчонка с опухшими от слез глазами.

— Хозяева дома? — спросил Иртыш таким тоном, как будто у него было очень важное дело.

— Я хозяйка, — сердито ответила девчонка. — Куда же ты лезешь?

— Здравствуй, коли ты хозяйка! Переночевать можно?

— Кого бог принес? — раздался дребезжащий голос, и дряхлая, подслеповатая старушонка высунула с печки голову.

— Да вот какой-то тут... переночевать просится.

— Заходи, батюшка! Заходи, милостивый! — жалобным голосом взывала старуха. — Валька, подай прохожему табуретку. Ох, и беда у нас, батюшка!.. Садись, дорогой, разве места жалко...

— Дак он же еще мальчишка! — огрызнулась на старуху обиженная Валька. — Ты глаза сначала протри, а то... батюшка да батюшка! Вон табуретка — сам сядет!

Но старуха, очевидно, была не только подслеповата, но и глуховата, потому что она не обратила никакого внимания на Валькину поправку и продолжала рассказывать про свое горе.

А горе было такое. Ее сын — Валькин отец — поехал еще позавчера в Россошанск на базар купить соли и мыла и по сю пору домой не вернулся. На базаре односельчане его видели. Видели и в чайной уже незадолго до вечера. Однако куда он потом провалился — этого никто не знал. А время было кругом неспокойное. Дороги опасные. Вот почему бабка на печи охала, а у Вальки были заплаканы глаза.

— Вернется! — громко успокоил Иртыш. — Он, должно быть, поехал в Мантурово, покупать телку. Или в Кожухово, сменить у телеги колеса. Ведь телега-то у вас, поди, старая?

— Старая, батюшка! Это верно, что старая! — радостно завопила обнадеженная бабка и от волнения даже свесила ноги с печки. — Достань, Валька, из печки горшок... миску поставь. Ужинать будем.

Валька подернула плечами, бросила на Иртыша удивленный, но уже не сердитый взгляд и, забирая кочергу, недоверчиво спросила:

— Что же это он колеса менять бы вздумал? Он когда уезжал, про колеса ничего не говорил.

— А это уже характер у него такой, — важно объяснил Иртыш. — Станет он обо всем с вами разговаривать!

— Не станет, батюшка, — слезая с печки, охотно согласилась старуха. — Это верно, что характер у него такой крутой, натурный. Валька, слазь в подпол, достань крынку молока. Ах ты боже мой! Вот послал господь утешителя!

Утешитель Иртыш самодовольно улыбнулся. Он помог Вальке открыть тяжелую крышку подпола, наточил тупой нож о печку и вежливо попросил Вальку, чтобы она подала ему воды умыться.

Валька улыбнулась и подала.

После ужина они были уже почти друзьями.

Бабка опять залезла на печку. Валька насухо вытерла стол и сняла со стены жестяную лампу. Иртыш взял с подоконника Валькину тетрадь и огрызок карандаша.

— Хочешь, я тебя нарисую? — предложил он. — Ты сиди смирно, а я раз-раз — и портрет будет.

— Бумагу-то портить! — недоверчиво ответила Валька. А сама быстро поправила волосы и вытерла рукавом губы. — Ну, рисуй, если хочешь!

— Зачем же портить? — самоуверенно возразил Иртыш. И, окинув прищуренным глазом девчонку, он зачертил карандашом по бумаге. — Так... Ты сиди, не ворочайся!.. Вот и нос готов... сюда брови... Вот один глаз, вот другой... Глаза-то у тебя опухли, заплаканные...

— А ты не опухлые рисуй! — забеспокоилась Валька. — Ты рисуй, чтобы было красиво.

— Я и так, чтобы красиво... Ты кончик языка убери. А то так с языком и нарисую! Ну вот волосы — раз... раз, и готово! Смотри, пожалуйста, разве не похожа? — И он протянул ей портрет красавицы с тонкими губами, с длинными ресницами и гибкими бровями.

— Похоже, — прошептала Валька. — Эх, как ты здорово! Только вот нос... Он как-то немного кривой... Разве же у меня кривой? Ты посмотри поближе... Подвинь лампу.

— Что нос? Нос — дело пустяковое. Дай-ка резинку... Нос я тебе какой хочешь нарисую. Хочешь — прямой, хочешь — как у цыганки с горбинкой... Вот такой нравится?

— Такой лучше, — согласилась Валька. — Ой, да ты же мне и сережки в ушах нарисовал!

— Золотые! — важно подтвердил Иртыш. — Постой, я в них сейчас бриллианты вставлю! Один бриллиант — раз... другой — два... Эх, ты! Засверкали! Ты в городе бываешь, Валька?

— Бываю, — не отрываясь от портрета, тихо ответила Валька. — С отцом на базаре.

— Тогда найду!.. А вон и ворота скрипят. Беги, встречай батьку!

— Ты колдун, что ли? Ой! А ведь правда, кто-то подъехал.

В избу вошел отец. Он был зол.

Вчера в лесу его встретили четверо из долгунцовской банды, вскочили на телегу и заставили свернуть на Семикрутово...

Против двухсот пехотинцев, полусотни казаков и двух орудий у города Россошанска было только восемьдесят два человека и три пулемета.

Однако отбивался Россошанск пока не унывая. Стоял он на крутых зеленых холмах. С трех сторон его охватывали поросшие камышом речки Синявка и Ульва. А с четвертой — от поля — на самой окраине торчала каменная тюрьма с четырьмя облупленными башенками.

День и ночь тут дежурила сторожевая застава. Пули за каменными бойницами были ей не страшны, а тургачевские орудия по тюрьме не били, потому что сидели в ней заложниками жена Тургачева и ее сын Степка.

Было еще совсем рано, когда Иртыш подбежал к ограде и застучал в окованные рваным железом ворота.

— Что гремишь? — спросил его через окошечко надзиратель. — Кого надо?

— Трубников Павел в карауле? Отворите, Семен Петрович. Беда как повидать надо!

— Эх, какой ты, молодец, быстрый! А пропуск? Это тебе, милый, тюрьма, а не церква.

— Так мне же нужно по самому спешному и важному! Вы там откиньте слева крючок, а засов ногою отпихните. Я быстренько. Мне только к Пашке Трубникову... к брату...

— К брату? — высовывая бородатое лицо, удивился надзиратель. — А я тебя, молодец, спросонок и не признал. Так это, говорят, ваша компания у меня в саду две яблони-скороспелки наголо подчистила?

— Бог с вами, Семен Петрович! — хлопнув рукой об руку, возмутился Иртыш. — С какой компанией? Какие яблоки? Ах, вот что! Это вы, наверно, приходили недавно в сад. Где

яблоки? Нет яблок. А все очень просто! Когда в прошлую пятницу стреляли белые из орудий, он — снаряд — как рванет... В воздухе гром, сотрясение!.. У Каблуковых все стекла полопались, трубу набок свернуло. Где же тут яблоку удержаться? Яблоки у вас сочные, спелые, их как тряханет — они, поди, и посыпались...

— То-то, посыпались! А куда же они с земли пропали? Сгорели?

— Зачем сгорели? Иные червь сточил, иные ёж закатал. А там, глядишь, малые ребяташки растащили. «Дай, думают, подберем, все равно на земле сопреет». А чтобы мы... чтобы я?.. Господи, добро бы хоть яблоко какое — анисовка или ранет, а то... фють, скороспелка!

— Мне яблок не жалко, — отпирая тяжелую калитку, пробурчал старик. — А я в нынешнее время жуликов не уважаю. Люди за добрую жизнь головы наземь ложут, а вы вон что, шелапутники!.. Ты лесом бежал, белых не встретил?

— У Донцова лога трех казаков видел, — проскальзывая за ограду и не глядя на старика, скороговоркой ответил Иртыш. — Ничего, Семен Петрович... мы отобьемся!

— Вы-то отобьетесь! — закидывая тяжелый крюк, передразнил Иртыша старик. — Ваше дело ясное... Направо иди, мимо караулки. Там возле бани, где солома, спит Пашка.

В проходе меж двумя заплесневелыми корпусами дымила походная кухня. Тут же, среди дров, валялись изрубленные на растопку золоченые рамы от царских портретов, мотки колючей проволоки и пустые цинки из-под патронов. На заднем двореке сушились возле церковной решетки холщовые мешки и поповская ряса.

В стороне, возле уборной, разметав железные крылья, лежал кверху лапами двуглавый орел.

Кто-то из окошка, должно быть нарочно, выкинул Иртышу на голову горсть шелухи от вареной картошки. Иртыш погрозил кулаком и повернул к бане.

Раскидавшись на соломенных снопах, ночная смена еще спала. Иртыш разыскал брата и бесцеремонно дернул его за полу шинели.

Брат лягнул Иртыша сапогом и выругался.

— Давай потише, — посоветовал отскочивший Иртыш. — Ты человек, а не лошадь?

— Откуда? — уставив на Иртыша сонные глаза, строго спросил брат. — Дома был? Где тебя трое суток носило?

— Всё дела, — вздохнул Иртыш. — Был в Катремушках. Ты начальнику скажи — совсем близко, у Донцова лога, трех я казаков видел.

— Эка невидаль! Трех! Кабы триста...

— Трехсот не видал, а ты скажи все же. Дома что? Мать, поди, ругается?

— Бить будет! Вчера перед иконой божилась. «Возьму, сказала, рогадь и буду паршивца колотить по чем попало!»

— Ой ли? — поежился Иртыш. — Это при советской-то?

— Вот она тебе покажет «при советской»! Ты зачем у Саблуковых на парадном зайца нарисовал? Всё шарлатанишь?

Иртыш рассмеялся:

— А что же он, Саблуков, как на митинге: «Мы да мы!» — а когда в пятницу стрельба началась, смотрю — скачет он через плетень да через огород, через грядки, метнулся в сарай из сарая — в погреб. Ну чисто заяц! А еще винтовку получил! Лучше бы мне дали...

— Про то и без тебя разберут, а тебе нет дела.

— Есть, — ответил Иртыш.

— А я говорю — нет!

— Есть, — упрямо повторил Иртыш. — А ты побежишь, я и тебя нарисую.

— И кто тебя, такого дурака, сюда пропустил? — рассердился брат. — В другой раз накажу, чтобы гнали в шею. Пстой! Матери скажи, пусть табаку пришлет. За шкапом, на полке. Да вот котелок захвати. Скажи, чтобы еды не носила. Вчера мужики воз картошки да барана прислали — пока хватит.

Иртыш забрал котелок и пошел. По пути он толкнул ногой железного орла, заглянул в

пустую бочку, поднял пустую обойму, и вдруг из того же самого окна, откуда на голову ему свалилась картофельная шкурка, с треском вылетела консервная жестянка и ударила по ноге, забрызгав какую-то жидкой дрянью.

Сквозь решетку Иртыш увидел вытиравшего о тряпку руки рыжего горбоносого мальчишку лет пятнадцати.

— Барчук! Тургачев Степка! — злобно крикнул Иртыш, хватая с земли обломок кирпича. — Где твоё ружьё? Где собака? Сидишь, филин!

Камень ударился о решетку и рассыпался.

— Стой! Проходи мимо! — закричал Иртышу, выбегая из-под навеса, часовой. — Не тронь камень, а то двину прикладом... Уйди прочь от решетки, белая гвардия! — погрозил он кулаком на окошко. — Ты смотри, дождешься!

Из глубины камеры выскочила такая же рыжая горбоносая женщина и рванула мальчишку за руку.

— Врет, он не выстрелит, — отдергивая руку, огрызнулся мальчишка. — Нет ему стрелять приказа!

Он плюнул через решетку, показал Иртышу фигу и нехотя отошел.

— Ишь, белая порода! Ломается! — выругался часовой. — То-то, что нет приказа. А то бы ты у меня сунулся!.. Беги, малый, — сердито сказал он Иртышу. — Видел господ? Мы вчера всухомятку кашу ели. А он, пес, фунт мяса да полдесяток яиц слопал. Не хватает только пирожного да какава!

— За что почет? — спросил Иртыш. — Жрали бы хлеба.

— Бойтся комиссар — не сдохли бы с горя. Разобьет тогда Тургачев тюрьму пушками. Она, тюрьма, только с виду грозна. А копнуть — одна труха. В церкви на стене писано — еще при Пугачеве строили. Сорви-ка лопух да штанину сзади вытри. Эх он тебя, пес, дрянью избрызгал.

— Я его убью! — пообещался Иртыш. — Мне бы только винтовку достать. У вас тут нет лишней?

Часовой усмехнулся:

— Лишних винтовок нынче на всем свете нет. Все при деле. Беги, герой! Вон разводящий идет, смена караула будет.

Отбежав на бугорок в сторону, Иртыш видел, как сменялись часовые. Старый сказал что-то новому и показал на Иртыша, потом на окошко.

Новый злобно выругался и вскинул винтовку к плечу. Разводящий погрозил новому пальцем и кивнул на караулку — должно быть, обещал пожаловаться начальнику. Новый скривил рот, вероятно показывая, что начальника он не испугался. Однако, когда разводящий поднес к губам свисток, новый сердито ударил прикладом о землю, скинул шинель, повесил ее на гвоздь под деревянный навес, молча стал на пост.

Старого часового Иртыш не знал. Новый, Мотька Звонарев, истопник и кухонный мужик с тургачевской усадьбы, был Иртышу немного знаком. Когда Мотька хоронил дочку Саньку, которая утонула в пруду, испугавшись тургачевских собак, Иртыш был на похоронах и даже нес перед гробом крест.

С пригорка Иртышу был виден подкравшийся к решетке Степка Тургачев. Иртыш постоял, любопытствуя — высунется теперь Степка из окна или нет. Степка постоял, посмотрел, но когда Мотька поднял голову, то он быстро отошел прочь.

Иртыша выпустили за ворота. Он решил выйти на свою улицу напрямик, через луг и огороды, и быстро шагал по мокрой, росистой траве.

«Давно ли? — думал он. — Нет, совсем еще недавно, всего только прошлым летом, его поймали в Тургачевском парке, где он ловил в пруду на удочку карасей. По чистым песчаным дорожкам, меж высоких пахучих цветов, его провели на площадку, и там перед стеклянной террасой, сидя в плетеной качалке, вот эта самая важная горбоносая женщина кормила из рук булкой пушистого козленка. Она объяснила Иртышу, что он потерял веру в бога, честь и совесть и что, конечно, уже недалеко то время, когда он попадет в тюрьму...»

Иртыш обернулся и посмотрел на грозные тюремные башенки.

— А как повернулось дело? — задумчиво пробормотал он. — Трах-та-бабах! Революция!

Ему стало весело. Он глотал пахнувший росой и яблоками воздух и думал: «Столб, хлеб, дом, рожь, больница, базар — слова всё знакомые, а то вдруг — Революция! Бейте, барабаны!» Он поднял щепку и громко забарабанил в закопченное днище солдатского котелка:

*Бейте, барабаны,
Трам-та-та-та !
Смотри, не сдавайся
Никому никогда!*

Получалось складно

*Бейте, барабаны.
Военный поход!
В тысяча девятьсот
Восемнадцатый год!*

Одинокая пуля жалобно прозвенела высоко над его головой. Иртыш съежился и скатился в канаву.

Высунувшись, он увидел, что это стреляют свои. С тюремной башенки часовой-наблюдатель показывал рукой, чтобы Иртыш не бродил по полю, а шел дорогой.

Иртыш запрыгал и замахал шапкой, объясняя, что ему нужно пройти огородами. Часовой посмотрел — увидал, что мальчишка, и махнул рукой. Иртыш свистнул и уже без песен помчался через грядки.

Высоко над землей сияло солнце. Звенели над пустыми полями жаворонки.

Прятались в логах злобные казаки. Приготовились к удару тургачевские пушки. И все на свете веселому Иртышу было ясно и понятно.

Это был июль 1918 года. Сады, заборы, загородки для выпаса скота были оплетены ржавой колючей проволокой. Лучину на растопку утюгов, самоваров щепали военными тесачами. Крупу, пшено, махорку скупно отмеряли на базарах походным котелком. А гремучие капсулы, головки от снарядов, латунные гильзы, обоймы, шомпола, а то и целую бомбу — на страх матерям — упрямо тащили ребятишки домой, возвращаясь с походов по грибы, по ягоду, по орехи.

Спасаясь от собаки и разорвав штанину о проволоку, Иртыш выбрался через чужой огород на улицу и на стене каменной часовенки увидел рыжее, еще сырое от клейстера объявление, возле которого стояло несколько человек. Это был, кажется, уже четвертый по счету приказ ревкома населению — сдать под страхом расстрела в 24 часа все боевое, ручное и охотничье огнестрельное оружие.

Иртыш, не задерживаясь, пробежал мимо. Он уже знал заранее, что все равно никто ничего не сдаст.

Было еще рано, но осажденный городок давно проснулся. Неуклюже ворочая метлами, под присмотром конвоира буржуи подметали мостовую. Неподалеку от пожарной каланчи, наполовину разбитой снарядами, городская рабочая дружина — человек двадцать пять — наспех обучалась военному делу.

По команде они вскидывали винтовки «на плечо», «на руку», «на изготовку», падали на булыжник и, распугивая прохожих, с криком «ура» скакали от забора к забору.

Мимо разрушенных и погоревших домов, сданных к брошенным купцами лавок Иртыш подошел к розовому двухэтажному дому купца Пенькова, где стоял теперь военный

комиссариат.

У крыльца уже толкались люди; из окна, выбитого вместе с рамой, торчал пулемет. Пулеметчик, сидя на широком каменном подоконнике, грыз семечки и бросал шелуху в пузатую, как бочка, золоченую урну.

У главного входа, возле каменного льва, в разинутую пасть которого был засунут запасной патронташ, стоял знакомый часовой. И он пропустил Иртыша, когда узнал, что Иртышу надо.

Иртыш прошел по шумным коридорам и наконец очутился в комнате, где уже несколько человек ожидали комиссара. Какой-то бойкий военный молодец, а вероятно всего-навсего вестовой, потянулся к Иртышу за пакетом.

— Нет! — отказался Иртыш. — Отдам только самолично.

— «Отлично самолично!»! — передразнил его молодец. — Да что же ты, дурак, прячешь за спину? Дай хоть подержать в руках.

— Вон умный — возьми да подержись, — указывая на дверную медную ручку, ответил Иртыш. — А это тебе не держалка!

Зашуршала и приоткрылась тяжелая резная дверь — кто-то выходил и у порога задержался.

По голосу Иртыш узнал комиссара — товарища Гринвальда. Другой голос, хрипловатый и резкий, тоже был знаком, но чей — Иртыш не вспомнил.

— Как наставлял наш дорогой учитель Карл Маркс, — говорил кто-то, — то знайте, товарищ комиссар, что я готов всегда за его идеи...

— Карл Маркс — это дело особое, а бомбы зря бросать нечего, — говорил комиссар. — То разоружили бы мы Гаврилу Полуwalова втихую, а теперь подхватил он свою охрану — да марш в банду. Иди, Бабушкин, зачисляю тебя командиром взвода караульной роты. Постой! Я что-то позабыл: семья у Гаврилы большая?

— Сам да жена. Жена у него, надо думать, товарищ комиссар, его злобному делу не сочувствует.

— Это мы разберем — сочувствует или не сочувствует.

Дверь отворилась, вышел комиссар Гринвальд, а за ним — коренастый, большеголовый человек в старенькой шинели, с винтовкой, у которой вместо ружейного ремня позвякивал огрызок собачьей цепи.

Иртыш сразу узнал михеевского мужика Капитона Бабушкина, которого в прошлом году за грубые слова драгуны сбросили вниз головой с моста в Ульву.

— Посадить дуру, конечно, следовало, — согласился Капитон Бабушкин. — Как завещал наш дорогой вождь Карл Маркс, трудящийся — он и есть труженик, а капитал — это явление совсем обратное. И раз родилась она бедного происхождения, то и должна, значит, держаться своего класса. Я эти его книги три месяца подряд читал. Цифры и таблицы пропускал, не скрою, но смысл дела понял.

Капитон вышел. Комиссар оглянулся.

— Эти двое не к вам, — объяснил вестовой. — В канцелярии сидят по вызову, а к вам коммерсант с жалобой да вон — мальчишка...

— Что за коммерсант? А-а... — нахмурился комиссар, увидев бородатого старика, который, опираясь на палку, стоял не шелохнувшись. — Садись, купец Ляпунов. Я тебя слушаю.

— Ничего, я постою, — не двигаясь, ответил старик. — Совесть, говорю я, в нашем городе уже давно не ночевала. Конtribusiцию мы вам дали. Лошадей дали. Хлеба двести пудов для пекарни дали. Дом мой один под приют забрали — хотя и незаконно, ну, думаю, ладно — приют дело божье.

А сегодня, смотрю, в другом доме на откосе рамы выставили, в стенах ломом бьют дыры, антоновку яблоню да две липы вырубил. Говорят, якобы для кругозора обороны. «Что же, — кричу им, — или вы слепые? Вон гора рядом. Бери заступы, рой окопы, как честные солдаты, строй фортификацию. А почто же в стенах бить дырья?»

Мы с вами по-хорошему. В других городах народ за ружье хватается, бунт вскипает. Мы же сидим мирно, и как оно будет, того и дожидаемся. Вы же разор чините, злобу. Заложников десять человек почти взяли. У людей от такой невидали со страху язык отнялся. Семьи сирые плачут. Вдова Петра Тиунова на чердаке удавилась. Это ли есть правое дело?

— Врет он, Яков Семенович! — ляпнул из своего угла Иртыш. — Вдову Тиунову они сами удавили. Она была... как бы оказать... блаженная, ей петлю подсунули, а теперь по всем базарам звонят!

Старик Ляпунов опешил и замахнулся на Иртыша палкой.

Иртыш отпрыгнул.

Комиссар вырвал и бросил палку.

— Ты кто? — строго спросил комиссар у Иртыша.

— Иртыш Трубников. Гонец с пакетом от командира Лужникова.

— Сиди, гонец, пока не спросят... Вот что, папаша, — обернулся комиссар к Ляпунову, — тебя слушали, не били. Теперь ты послушай. Хлеба дали, контрибуцию дали — подумаешь, благодетели!.. Врете! Ничего вы нам не давали. Хлеб мы у вас взяли, контрибуцию взяли, лошадей взяли.

Где нам рыть окопы, где бить бойницы — тут вы нам советчики плохие. Заложников посадили, надо будет — еще посадим. Сорок винтовок офицер Тиунов из ружейных мастерских ограбил. Сам убит, а куда винтовки сгнули — неизвестно! Отчего вдова Тиунова на другой день на чердаке оказалась — неизвестно. Однако догадаться можно...

А чью ночью через Ульву лодку захватили? А кто спустил воду у мельницы, чтобы дать белым брод через Ульву?.. Я?! Он?! (Комиссар ткнул пальцем на Иртыша.) Может быть, ты?.. Нет?.. Николай-угодник!..

Иди сам, сам запомни и другим расскажи. Да, забыл! Что это у вас в монастыре за святой старец объявился? Пост, как ангел... сияет... проповедует. Я не бандит Долгунец. Монастыри громить не буду. Но старцу посоветуй лучше убраться подальше.

Прочти ему что-нибудь из священного писания, иже, мол, который глаголет всеу* разные словесы насчет того, какая власть от бога, а какая от черта, то пусть лучше отыдет подальше, дондеже** не выгнали его в шею или еще чего похуже. Ступай!..

></emphasis>

* *Глаголет всеу (церк.-слав.) — говорит без надобности.*

** *Дондеже (церк.-слав.) — доколе, покуда.*

Там тебе я утром сегодня повестку послал. Сорок пар старых сапог починить надо. Достаньте кожи, набойки, щетины, дратвы.

— Где? Откуда?

— Поищите у себя сначала сами, а если уж не найдете, то я своих пошлю к вам на подмогу.

— Бог! — поднимая палец к небу и останавливаясь у порога, хрипло и скорбно пригрозил Ляпунов. — Он все видит! И он нас рассудит!

— Хорошо, — ответил комиссар, — я согласен. Пусть судит. Буду отвечать. Буду кипеть в смоле и лизать сковородки. Но кожу смотрите не подсуньте мне гнилую! Заверну обратно.

Старик вышел.

Комиссар плюнул и взял у Иртыша пакет и сердито повернулся к дверям своего кабинета.

Иртыш побледнел.

Отворяя дверь, комиссар уже, вероятно, случайно увидел точно окаменевшего, вытянувшегося мальчугана.

— Что же ты стоишь? Иди! — сказал он и вдруг грубовато добавил: — Иди за мной в кабинет.

Иртыш вошел и сел на краешек ободранного мягкого стула. Комиссар прочел

донесение.

— Хорошо, — сказал он. — Спасибо! Что по дороге видел?

— Трех казаков видал у Донцова лога. Два — на серых, один — на вороном. Возле Булатовки два телеграфных столба спилены... Да, забыл: из Катремушек шпион убежал. По нем из винтовок — трах-ба-бах, а он, как волк, закрутился, да в лес, да ходу... Дали бы и мне, товарищ комиссар, винтовку, я бы с вами!

— Нет у нас лишних винтовок, мальчик. Самим нехватка. Дело наше серьезное.

— Ну, в отряд запишите. Я пока так... А там как-нибудь раздобуду.

— Так нельзя! Хочешь, я тебя при комиссариате рассыльным оставлю? Ты, я вижу, парень проворный.

— Нет! — отказался Иртыш. — Пустое это дело.

— Ну, не хочешь — как хочешь. Ты где учился?

— В ремесленном учился на столяра. Никчемная это затея — комоды делать, разные там барыням этажерки... — Иртыш помолчал. — Я рисовать умею. Хотите, я с вас портрет нарисую, вам хорошую вывеску нарисую? А то у вас какая-то мутная, корявая, и слово «комиссар» через одно "с" написано. Я знаю — это вам маляр Васька Сорокин рисовал. Он только старое писать и умеет: «Трактир», «Лабаз», «Пивная с подачей», «Чайная». А новых-то слов он совсем и не знает. Я вам хорошую напишу! И звезду нарисую. Как огонь будет!

— Хорошо, — согласился комиссар. — Попробуй... У тебя отец есть?

— Отца нет, от вина помер. А мать — прачка, раньше на купцов стирала, теперь у вас, при комиссариате. Ваши галифе недавно гладила. Смотрю я, а у вас на подтяжках ни одной пуговицы. Я от своих штанов отпороть велел ей, она и пришила. Мне вас жалко было...

— Постой... почему же это жалко? — смутился и покраснел комиссар. — Ты, парень, что-то не то городишь.

— Так. Когда при Керенском вам драгуны зубы вышибли, другие орут, воют, а вы стоите да только губы языком лижете. Я из-за забора в драгун камнем свистнул да ходу.

— Хорошо, мальчик, иди! Зубы я себе новые вставил. Иным было и хуже. Сделаешь вывеску — мне самому покажешь. Тебя как зовут? Иртыш?

— Иртыш!

— Ну, до свиданья, Иртыш! Бей, не робей, наше дело верное!

— Я и так не робею, — ответил Иртыш. — Кто робеет, тот лезет за печку, а я винтовку спрашиваю.

Иртыш побежал домой в Воробьеву слободку. С высокого берега Синявки пыльные ухабистые улочки круто падали к реке и разбегались кривыми тупиками и проулками.

Все здесь было шиворот-навыворот. Убогая колокольня Спасской церкви торчала внизу почти у самого камыша, и казалось, что из сарая бочара Федотова, что стоял рядом на горке, можно было по колокольне бить палкой.

С крыши домика, где жил Иртыш, легко было пробраться к крыльцу козьей барабанщицы, старухи Говорухи, и оттуда частенько летела на головы всякая шелуха и дрянь.

Но зато когда Иртыш растоплял самовар еловыми шишками, дым черным столбом валил кверху. Говорухины козы металась по двору, поднимая жалобный вой. Высовывалась Говоруха и разгоняла дым тряпкой, плевалась и ругала Иртыша злодеем и мучителем.

Жил на слободке народ мелкий, ремесленный: бондари, кузнецы, жестянщики, колесники, дугари, корытники. И еще издалека Иртыш услышал знакомые стуки, звоны и скрипы: динь-дон!.. дзик-дзак!.. тиу-тиу!..

Вон бочар Федотов выкатил здоровенную кадку и колотит по ее белому пузу деревянным молотком... Бум!.. Бум!..

А вон косой Павел шаркает фуганком туда-сюда, туда-сюда, и серый котенок балуется и скачет за длинной кудрявой стружкой.

«Эй, люди, — подумал Иртыш, — шли бы лучше в Красную Армию».

Он отворил калитку и столкнулся с матерью.

— А-а! Пришел, бродяга! — злым голосом закричала обрадованная мать и схватила лежавшую под рукой деревянную скалку для белья.

— Мама, — сурово ответил Иртыш. — Вы не деритесь. Вы сначала послушайте.

— Я вот тебе послушаю! Я уже слушала, слушала, все уши прослушала! — завопила мать и кинулась к нему навстречу.

«Плохо дело!» — понял Иртыш и неожиданно сел посреди двора на землю.

Этот неожиданный поступок испугал и озадачил мать Иртыша до крайности. Разинув рот, она остановилась, потрясая скалкой в воздухе, тем более что бить по голове скалкой было нельзя, а по всем прочим местам неудобно.

— Ты что же сел? — со страхом закричала она, уронив скалку, беспокойно оглядывая сына и безуспешно пытаясь ухватить его за короткие и жесткие, как щетина, волосы. — Что ты сел, губитель моего покоя. У тебя что — бомба в ноге? Пуля?

— Мама, — торжественно и печально ответил Иртыш. — Нет у меня в ноге ни бомбы, ни пули. А сел я просто, чтобы вам на старости лет не пришлось за мной по двору гоняться. Бейте своего сына скалкой или кирпичом. Вот и кирпич лежит рядом... вон и железные грабли. Мне жизни не жалко, потому что скоро все равно уже всем нам приблизится смерть и погибель.

— Что ты городишь, Христос с тобой! — жалобно спросила мать. — Откуда погибель? Да встань же, дурак. Говори толком!

— У меня горло пересохло! — поднимаясь с земли и направляясь к столу, что стоял во дворе под деревьями, ответил Иртыш. — Был я в деревне Катремешки. И было там людям видение... Это что у вас в кастрюле, картошка?.. И было там людям видение, подвиньте-ка, мама, соли!.. За соль в Катремешках пшено меняют... Пять фунтов на пуд... Ничего не вру... сам видал. Да, значит, и было там людям видение — вдруг все как бы воссияло...

— Не ври! — сказала мать. — Когда воссияло?

— Вот провалиться — воссияло!.. Воссияло!.. Ну, сверху, конечно. Не из погребка... Вот вы всегда перебиваете... А я чуть не подавился... Вам Пашка котелок прислал — возьмите. Табаку спрашивает. Как нету?.. Он говорит: «Есть на полке за шкапом. Без табаку, — говорит, — впору хоть удавиться». Говорили вы ему, мама: «Не кури — брось погань!», а он отца-матери не слушался, вот и страдает. А я вас слушался — вот и не страдаю...

— Постой молоть! — оборвала его мать... — Ну, и что же — видение было?.. Глас, что ли?

— Конечно, — протягивая руку за хлебом, ответил Иртыш. — Раз видение, значит, и глас был. Я, мама, к вам домой бежал, торопился — за проволоку задел, штанина дрызг... Вон какой кусок... Вы бы мне зашили, а то насквозь сверкает, прямо совестно... Хотел было вам по дороге малины нарвать... да не во что!..

Помните, как мы с отцом вам однажды целое решето малины нарвали. А вы нам тогда чаю с ситным... А жалко, мам, что отец помер. Он хоть и пьяница был, но ведь бывал же и трезвый... А песни он знал какие... «Ты не стой, не стой на горе крутой!» Спасибо, мама, я наелся.

— Постой! — вытирая слезы, остановила его мама. — А что же видение — было?.. Глас был?.. Или все, поди, врешь, паршивец?..

— Зачем врать?.. Был какой-то там... Только что-то неразборчиво... Одни так говорят, другие этак... А иной, поди, сам не слышал, так только вря брешет. Дайте-ка ведра, я вам из колодца воды принесу, а то у вас речная, как пойло.

И, схватив ведра, Иртыш быстро выскользнул за калитку.

Мать махнула рукой.

— Господи, — пробормотала она. — Отец был чурбан чурбаном. Сама я как была пень, так и осталась колода. И в кого же это он, негодный, таким умником уродился? Ишь ты...

видение... сияние...

Она вытерла слезы, улыбнулась и начала среди барахла искать крепкую ткань своему непутевому сыну...

1936-1937

ПРИМЕЧАНИЯ

В марте 1936 года Аркадий Гайдар ответил на письмо юных читателей из Орла:

«...Осенью вы уже, вероятно, будете читать мою новую повесть „Талисман“, над которой я сейчас крепко работаю».

Какое название дать своей новой повести, Аркадий Гайдар тогда еще окончательно не решил. В разговорах с друзьями все же чаще называл ее «Бумбараш». Очень ему нравилось это звонкое, с рокотом барабана, имя. В газете, сообщая о своих творческих планах, писал, что работает над повестью «Талисман».

Но дело не в названии. Он начал писать эту повесть вскоре после выхода в свет «Голубой чашки». Был окрылен успехом, и работа шла споро.

«Повесть я тебе сдам хорошую, — сообщал Аркадий Гайдар в письме редактору журнала „Пионер“ Б. А. Ивантеру, — доволен будешь. Написал вчера такую фразу — что два часа ходил и улыбался... Да здравствует веселый Бумбараш, да здравствует юный человек — Иртыш — веселая голова».

Почему повесть осталась незавершенной, рассказывает Р.И.Фраерман:

"Гайдар был чрезвычайно доволен, как шла работа над «Бумбарашем». Он писал эту повесть с вдохновением.

И вдруг в свет выходит повесть Валентина Катаева «Шел солдат с фронта», или, как она потом стала называться, «Я — сын трудового народа».

Это было почти то же самое, о чем думал Гайдар и о чем ему хотелось написать в «Бумбараше».

Гайдар оставляет работу".

Вскоре он начал писать повесть «Судьба барабанщика».

Впервые главы из повести «Бумбараш» были опубликованы в сборнике «Жизнь и творчество А.П.Гайдара» (Москва, Детгиз, 1951).

Т.А.Гайдар